

Marina
Марина
Влады

ВЛАДИМИР,

или

Прерванный

полёт

Wladimir
Wladimir
ou le vol

arrêté

Марина Влади

ВЛАДИМИР,
или Прерванный
полет

Marina Vlady

VLADIMIR
ou le vol
arrêté

Fayard

Марина Влади

ВЛАДИМИР,
или Прерванный
полет

Перевод Марины Влади
и Юлии Абдуловой

Москва «Прогресс» 1989

ББК 85.334.3 (2) 7

В57

Перевод с французского М. Влади и Ю. В. Абдуловой

Редактор В. П. Меженков

Художник Н. Б. Ежкин

Влади М.

В57

Владимир, или Прерванный полет: Пер. с фр. — М.: Прогресс, 1989. — 176 с.

В книге воспоминаний известная французская актриса М. Влади рассказывает о своем приезде в 1967 году на V Московский международный кинофестиваль, о знакомстве с Владимиром Высоцким, об их жизни в Москве, поездках во Францию, Италию, США и другие страны. В книге приведены малоизвестные факты, касающиеся встреч В. Высоцкого с видными зарубежными деятелями культуры — Питером Бруком, Робером де Ниро, Лайзой Минелли и др. Автор подробно описывает процесс работы В. Высоцкого над своими стихами и песнями, рассказывает о его выступлениях в театре и на концертах перед многочисленной советской и зарубежной аудиторией.

Не со всеми оценками М. Влади событий и людей, с которыми она встречалась и которых знала лично, можно согласиться; в ряде же случаев характеристики, которые она дает отдельным лицам — в частности, родителям В. Высоцкого, — носят откровенно субъективистский характер. Тем не менее автору не откажешь в искреннем желании разобраться в непростых явлениях советской действительности конца 60-х — начала 80-х годов, понять мотивы беспредельной любви В. Высоцкого к своей Родине. Эта искренность автора легко прочитывается даже на тех страницах книги, на которых эмоции явно берут верх над объективностью.

В $\frac{4703010400-058}{006(01)-89}$ 71-89

ББК 85.334.3 (2) 7

ISBN 5-01-001751-2

© 1987, Librairie Arthème Fayard

© Перевод на русский язык — "Прогресс", 1989

*Маме, Тане, Бернару, Жан-Марку,
Минде, Игорьку, Андрею
и Симоне...*

*А на нейтральной полосе цветы
Необычайной красоты.*

Владимир Высоцкий

У Володи было много друзей. Одни встречались с ним каждый день, другим лишь удавалось иногда попасть на его концерты, третьи только слушали магнитофонные записи. Но все они были друзьями. Для них – этот перевод на русский.

Марина Влади

Меня всегда занимал вопрос: что происходит в головах людей при виде актера или актрисы, которыми они восхищались в кино?

Однажды вечером мы выходим из театра после "Гамлета". Мороз, на улице ни души. Белый пар поднимается из решеток стока, и свет фонарей прорывает синеватую тьму. Откуда-то из подъезда появляются два человека в меховых шапках и как вкопанные застывают перед нами. Ты смотришь на меня с беспокойством. Может быть, ты даже испугался в какой-то момент. Но мягкий и вежливый тон того, что повыше, сразу же нас успокоил. Слегка наклонившись вперед и стараясь не глядеть в мою сторону, он обращается к тебе с сильным грузинским акцентом:

— Дорогой, дорогой Высоцкий, позвольте мне представиться. Я — из Тбилиси, я узнал, что сегодня вы вдвоем будете в театре, и весь вечер прождал на улице — боялся вас пропустить. Прошу вас позволить мне обратиться к вашей супруге.

В его устах такое галантное вступление не показалось мне неуместным. В нем чувствовалось огромное уважение, даже почтительность, а главное — было понятно, что предмет разговора очень серьезный. Движением руки ты приглашаешь его говорить. Он поворачивается ко мне, и тут я вижу его глаза. В них застыла страстная решимость.

— Мадам, я пришел отомстить за вас. Мы с моим другом готовы убить того подлого негодяя, у которого нет жалости!

Если бы он не был так взволнован, я рассмеялась бы, но, чувствуя, что он дрожит с головы до пят, я молчу, а он продолжает:

— Как он мог, как не пожалел? Камнем! Камнем даже собаку не убивают!

Наконец я начинаю понимать: Колдунья — юная дикарка — моя героиня из фильма, над которым рыдала вся Россия, погибает от руки невежественного крестьянина. И вот теперь этот человек хочет отомстить за ту, которую я сыграла. Он так свято поверил во все это, что ему показалось совершенно естественным предложить свою помощь мне...

Я взволнована и растеряна. Как ответить, чтобы не обидеть его, как объяснить этому простодушному человеку, что тут не за что мстить? Я попросту беру его за руку.

— Посмотрите на меня, меня не убивали. Ведь я жива, я говорю с вами. Ну, убедились?.. Спасибо вам за желание помочь и за вашу отзывчивость.

Его ледяные руки сжимают мою, и, наклонившись, он прикасается губами к кончикам моих пальцев.

Все, чары развеяны. Выпрямившись, он с достоинством просит извинить за то, что отнял у нас столько времени.

Два человека уходят в ночь.

Странная история, которую ты рассудил почти серьезно: "Жаль. Мы могли бы отправить их к нашему злейшему врагу".

В самом деле, кто был твоим злейшим врагом?

На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Сцена наклонена под углом к полу, и цепи, которые держат четыре человека, не только сковывают пленника, но и не дают ему упасть. Это шестьдесят седьмой год. Я приехала в Москву на фестиваль, и меня пригласили посмотреть репетицию "Пугачева", пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей — некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Все, кто был в зале, аплодируют стоя.

На выходе один из моих друзей приглашает меня поужинать с актерами, исполнявшими главные роли в спектакле. Мы встречаемся в ресторане ВТО — шумном, но симпатичном. Там хорошо кормят и закрывают гораздо позже, чем в других местах. Мы предъявляем пропуски, и наша небольшая компания устраивается за столиком. Наш приход вызывает оживленное любопытство присутствующих. В СССР я пользуюсь совершенно неожиданной для меня известностью. Все мне рады, несут мне цветы, коньяк, фрукты, меня целуют

и обнимают... И вот уже стол уставлен бутылками, официанты приносят закуски. Мы принимаемся за еду. Я жду того замечательного артиста, мне хочется его поздравить, но говорят, что у него чудной характер и поэтому он может и совсем не прийти. Я расстроена, но у моих собеседников столько вопросов! Они знают, что я много снималась, хотя видели всего два или три моих фильма. И по-русски — а я в последний раз говорила по-русски шестилетней девочкой — я пускаюсь в повествование о моей артистической карьере.

Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий, плохо одетый молодой человек. Я мельком смотрю на него, и только светло-серые глаза на миг привлекают мое внимание. Но возгласы в зале заставляют меня прервать рассказ, и я поворачиваюсь к нему. Он подходит, молча берет мою руку и долго не выпускает, потом целует ее, садится напротив и уже больше не сводит с меня глаз. Его молчание не стесняет меня, мы смотрим друг на друга, как-будто всегда были знакомы. Я знаю, что это — ты. Ты совершенно не похож на ревущего великана из спектакля, но в твоем взгляде чувствуется столько силы, что я заново переживаю все то, что испытала в театре. А вокруг уже возобновился разговор. Ты не ешь, не пьешь — ты смотришь на меня.

— Наконец-то я встретил вас.

Эти первые произнесенные тобой слова смущают меня, я отвечаю тебе дежурными комплиментами по поводу спектакля, но видно, что ты меня не слушаешь. Ты говоришь, что хотел бы уйти отсюда и петь для меня. Мы решаем провести остаток вечера у Макса Леона, корреспондента "Юманите". Он живет недалеко от центра. В машине мы продолжаем молча смотреть друг на друга. На твоем лице — то тень, то свет. Я вижу твои глаза — сияющие и нежные, коротко остриженный затылок, двухдневную щетину, ввалившиеся от усталости щеки. Ты некрасив, у тебя ничем не примечательная внешность, но взгляд у тебя необыкновенный. Как только мы приезжаем к Макссу, ты берешь гитару. Меня поражает твой голос, твоя сила, твой крик. И еще то, что ты сидишь у моих ног и поешь для меня одной. Постепенно я начинаю постигать смысл, горький юмор и глубину твоих песен. Ты объясняешь мне, что театр — твое ремесло, а поэзия — твоя страсть. И тут же, безо всякого перехода говоришь, что давно любишь меня.

Как и любой актрисе, мне приходилось слышать подобные неуместные признания. Но твоими словами я по-настоя-

шему взволнована. Я соглашаюсь встретиться с тобой на следующий день вечером в баре гостиницы "Москва", в которой живут участники фестиваля.

В баре полно народу, меня окружили со всех сторон, но, как только ты появляешься, я бросаю своих знакомых, и мы идем танцевать. На каблуках я гораздо выше тебя, ты встаешь на цыпочки и шепчешь мне на ухо безумные слова. Я смеюсь, а потом уже совсем серьезно говорю, что ты — необыкновенный человек и с тобой интересно общаться, но я приехала всего на несколько дней, у меня очень сложная жизнь, трое детей, работа, требующая полной отдачи, и Москва далеко от Парижа... Ты отвечаешь, что у тебя у самого — семья и дети, работа и слава, но все это не мешает мне стать твоей женой. Ошарашенная таким нахальством, я соглашаюсь увидеться с тобой завтра.

Я захожу за тобой в театр к концу репетиции. Утром мне позвонил Сергей Юткевич и предложил сыграть роль Лики Мизиновой — молодой женщины, в которую был влюблен Чехов. Меня одолевают сомнения — все-таки съемки рассчитаны почти что на год. Ты же буквально прыгаешь от восторга, ты кричишь и лихорадочно умоляешь меня соглашаться. Я твержу, что все это очень сложно, но ты упорствуешь: надо соглашаться, у нас будет время видеться и главное — ты сможешь уговорить меня выйти за тебя замуж. Тон почти шуточный, но я чувствую столько нежности в этих словах, что твое воодушевление передается и мне, и мы представляем, как все будет: я привезу своих еще маленьких детей и маму, которая пятьдесят лет не была в России, мы станем друзьями, будем часто видеться, и ты будешь петь мне свои новые песни.

Нам обоим нет тридцати, я разведена, ты — разводишься, впереди — целая жизнь. Я осторожно замечаю: все это хорошо, но я-то в тебя не влюблена! "Неважно, — говоришь ты, — я сумею тебе понравиться, вот увидишь". Это веселое и легкое общение продлилось несколько дней, и вот фестиваль заканчивается, я уезжаю из Москвы, подписав контракт, и приеду на съемки в начале шестьдесят восьмого.

Проходит время. Сначала я получаю нежное письмо из Москвы. Потом, как раз, когда я размышляю над тем, что со мной происходит и почему мне так тоскливо, телефонный звонок обрывает мои невеселые раздумья. Это ты. Я слышу теплый тембр твоего голоса и русский язык, напоминающий мне об отце, которого я обожала, — и от всего этого у меня

ком в горле. После разговора я кладу трубку и реву. "Ты влюблена, моя девочка", — говорит мама. Я стараюсь найти другое объяснение — много работы, устала, но в глубине души понимаю, что она права: я жду не дождусь встречи с тобой.

В мае шестьдесят восьмого мы создаем кооператив актеров и технического персонала и снимаем вместе с Бернаром Полем фильм "Время жить". Нас захватывает борьба, мы увлечены мощным политическим движением. Мне вспоминается начало пятидесятых, когда я работала в Италии с режиссерами-коммунистами — Висконти, Пепе де Сантисом, Уго Пирро, Тонино Гуэрра, Карло Лицани... Мы участвовали в антифашистских демонстрациях, и иногда дело доходило до драк на улицах. Этот пройденный вместе с ними путь сблизил меня тогда с Итальянской коммунистической партией. А теперь, в эти безумные, смутные майские дни, в Париже, я думаю о России, о предстоящих съемках в Москве, о будущей жизни — может быть, рядом с тобой — и принимаю решение. Как раз перед отъездом из Парижа, в июне шестьдесят восьмого, я вступаю в ФКП.

Сама того не подозревая, я совершаю, таким образом, поступок, который во многом определит весь ход твоей жизни. И впоследствии, когда я буду хлопотать о выдаче тебе для поездки заграничного паспорта, это кратковременное и символическое членство в партии придаст моим просьбам вес, о котором я пока и не догадываюсь.

Я приеду в Москву, но увидимся мы не сразу. Мне сказали, что ты снимаешься далеко в Сибири и вернешься только через два месяца.

Я начинаю работать, жизнь устраивается. Я живу в гостинице "Советская", бывшем "Яре", где пировал еще мой дед. У меня роскошный номер с мраморными колоннами, роялем и живыми цветами — каждый день свежими. Мама согласилась поехать со мной. Все ее волнует и удивляет в России. Ленинград, по ее мнению, совсем не изменился, и она продолжает называть его Петербургом. Прогулки по Москве уводят нас в прошлое. А настоящее — это художники, поэты, писатели, актеры, которые каждый день собираются у меня, как в модном салоне.

В один из таких вечеров ты появляешься на пороге и воцаряется полная тишина. Ты подходишь к моей маме, представляешься и вдруг, на глазах у всех, сжимаешь меня

в объятиях. Я тоже не могу скрыть волнения. Мама шепчет мне: "Какой милый молодой человек, и у него красивое имя". Когда мы остаемся одни, ты говоришь, что не жил все это время, что эти месяцы показались тебе бесконечно долгими...

Мы едем за моими мальчиками за город, в пионерский лагерь, где отдыхают дети работников "Мосфильма". Я решила окунуть их в абсолютно советскую среду, к тому же лагеря для детей иностранцев — далеко от Москвы, на берегу Черного моря. А главное — я хочу, чтобы сыновья научились говорить по-русски. И действительно, через неделю их уже все понимают.

Я работаю целыми днями, беру детей по воскресеньям и, естественно, замечаю, что они уже неплохо владеют словарем, богатым всякого рода ругательствами. Сегодня они буквально на взводе. Они услышали и выучили песенку, в которой говорится обо мне. Я быстро понимаю по твоим смеющимся глазам, что сочинил ее ты, когда мы еще не были знакомы:

*Сегодня в нашей комплексной бригаде
Прошел слушок о бале-маскараде.
Раздали маски кроликов,
Слонов и алкоголиков,
Назначили все это в зоосаде.*

*— Зачем идти при полном при параде?
Скажи мне, моя радость, Христа ради!
Она мне: — Одевайся!
Мол, я тебя стесняюсь,
Не то, мол, как всегда, пойдешь ты сзади.*

*Я платье, говорит, взяла у Нади,
Я буду нынче, как Марина Влади!
И проведу, хоть тресну я,
Часы свои воскресные,
Хоть с пьяной твоей мордой — но в наряде.*

*Зачем же я себя утюжил, гладил?
Меня поймали тут же в зоосаде.
Ведь массовик наш Колька
Дал мне маску алкоголика,
И на троих зазвали меня дяди.*

*Я снова очутился в зоосаде.
Глядь – две жены,
Ну – две Марины Влади!
Одетые животными,
С двумя же бегемотами.
Я тоже озверел и встал в засаде...*

*Наутро дали премию в бригаде,
Сказав мне, что на бале-маскараде
Я будто бы не только
Сыграл им алкоголика,
А был у бегемотов я в оgrade!*

Нас сильно рассмешила эта песенка в исполнении моих сыновей. Ты объясняешь мне, что однажды посмотрел, как и все, фильм "Колдунья" и что, когда в 1965-м я приехала на фестиваль в Москву, ты тщетно пытался встретиться со мной. По несколько раз в день ты ходил в кино смотреть хронику, чтобы увидеть меня хотя бы на экране. Короче, ты влюблен уже много лет и никогда не мог представить себе, что однажды увидишь меня живьем и так близко. Из всего этого ты делаешь неизменный вывод: "Во всяком случае, теперь-то я знаю, что ты станешь моей женой".

Мы едем на пикник к озеру. Погода хорошая, вода прохладная, дети играют и плещутся, ты напеваешь вполголоса, я тебя слушаю, мы счастливы...

Проводив нас, ты убегаешь, заручившись моим обещанием провести выходные с тобой. Я ложусь спать, но не сплю. Мама приходит посидеть со мной. Она находит тебя необычным и трогательным. Я столько рассказывала ей о твоём таланте, что она заранее чувствует к тебе симпатию – и это уже навсегда.

В назначенный день ты приезжаешь очень рано. И мы едем в тихое, уединенное место на берегу реки. Ты привез из Сибири песню о людях, попавших в лагерь при Сталине: один человек возвращается, отсидев срок, и просит хозяйку протопить ему баньку по-белому, чтобы убить сомнения, очистить душу. Страшная песня, где впервые ты упоминаешь мое домашнее имя – Маринка. Еще ты мне читаешь первые строфы "Охоты на волков". Я понимаю, что ты приносишь мне в дар эти стихи, которые еще никогда никому не пел. Я пьянею от какой-то ребячливой гордости. Сам Поэт поет мне свои строки, и я становлюсь хранительницей его творчества, его души.

Мы возвращаемся обратно, ты идешь играть спектакль, я отправляюсь к маме, которая должна скоро уехать в Париж. Все лето мы видимся почти каждый день, круг друзей сужается. Теперь остались только самые близкие: наш любимый Сева Абдулов, его мать Елочка — красивая пожилая дама, говорящая на французском языке прошлых времен, Вася Аксенов — угрюмый и симпатичный, настоящий медведь, Белла Ахмадулина — гениальная и восторженная поэтесса. Целыми вечерами мы болтаем, читаем стихи, иногда кто-нибудь из художников или скульпторов приносит показать свои работы. Днем я снимаюсь, вечером мы собираемся вместе. Теперь мы так близки с тобой, что просто дружбой это уже не назовешь. Я знаю о тебе все — по крайней мере так мне кажется. Ты очень сдержан, но все настойчивее ухаживаешь за мной.

В один из осенних вечеров я прошу друзей оставить нас одних в доме. Это может показаться бесцеремонным, но в Москве, где люди не могут пойти в гостиницу — туда пускают только иностранцев и жителей других городов, — никого не удивит подобная просьба. Хозяйка дома исчезает к соседке. Друзья молча обнимают нас и уходят.

Закрыв за ними дверь, я оборачиваюсь и смотрю на тебя. В луче света, идущем из кухни, мне хорошо видно твое лицо. Ты дрожишь, ты шепчешь слова, которых я не могу разобрать, я протягиваю к тебе руки и слышу обрывки фраз: "На всю жизнь... уже так давно... моя жена!"

Всей ночи нам не хватило, чтобы до конца понять глубину нашего чувства. Долгие месяцы заигрываний, лукавых взглядов и нежностей были как бы прелюдией к чему-то неизмеримо большему. Каждый нашел в другом недостающую половину. Мы тонем в бесконечном пространстве, где нет ничего, кроме любви. Наши дыхания стихают на мгновение, чтобы слиться затем воедино в долгой жалобе вырвавшейся на волю любви.

Нам по тридцать лет, у нас большой опыт жизни — несколько жен и мужей, пятеро сыновей на двоих, профессиональные успехи и неудачи, взлеты и падения, слава. А мы очарованы друг другом, как дети, впервые узнающие любовь.

Ничто и никогда не сотрет из памяти те первые минуты бесконечной близости. На третий день на рассвете мы уходим из этого доброго дома. Мы вместе отныне и вовеки веков.

Несмотря на то, что мы совершенно не скрываем наших отношений, к моему огромному удивлению, мне дали понять, что

тебе нельзя оставаться на ночь у меня в номере. Дежурная по этажу неизменно просит меня выпроводить гостя к одиннадцати часам вечера. И после нескольких скандалов в гостинице мы начинаем искать место, где нам можно было бы встретаться. Как и у всех влюбленных в Москве, в нашем распоряжении кушетка где-нибудь на кухне, или диван в коридоре, или ночной поезд Москва—Ленинград — прелестное и романтическое купе начала века, или каюты катеров, бороздящих искусственное озеро, которые можно взять напрокат на несколько часов. И каждый раз у нас остается смутное воспоминание о спешке и полная неудовлетворенность.

Мы оба работаем с утра и до позднего вечера, но зато нам принадлежит ночь. После тщетных попыток снять квартиру ты предлагаешь мне жить у твоей матери, Нины Максимовны. У нее маленькая двухкомнатная квартира в новом районе. И, что очень ценно, в этой современной квартире есть и кухня, и ванна, и туалет, поэтому не нужно долго ждать, чтобы умыться, приготовить поесть или воспользоваться уборной. Я с радостью соглашаюсь. Я страшно устала от переездов с места на место, от обязанности слушать целыми вечерами беседы друзей, пусть даже и захватывающе интересные.

Мне необходимо быть с тобой. А главное, я замечаю, что в этих компаниях ты начал пить. Впрочем, как и все мы. В Москве не представляют себе вечеринку без водки — холодный климат к этому располагает, это национальная традиция, и я сама с удовольствием открываю для себя тепло, развязывающее язык, ощущение свободы, которое дает водка. Но я знаю, что для тебя это — проблема. Ты мне сказал об этом однажды вечером, когда на ужине у артистов театра мы встретились с твоей бывшей подружкой и она попыталась потихоньку налить тебе водки. Ты очень зло ответил ей. Я удивилась такой резкости, ты объяснил: "Она знает, мне нельзя пить. Это самый мерзкий способ попытаться вернуть меня".

Друзья меня тоже предупредили. Одни — из любви к тебе, другие — потому, что наша связь кажется им скандальной. Все говорят одно и то же: не давай ему пить, это алкоголик, он не должен даже прикасаться к стакану, вот увидишь, сейчас-то он сдерживается, но, как только начнет снова, ты себе локти будешь кусать. До сих пор я видела тебя слегка навеселе, скорее радостным, одним словом — милым. Я

убеждена, что после переезда можно будет не беспокоиться на этот счет.

Твоя мать встречает нас у порога. Она работает архивариусом, уходит из дома очень рано и приходит только вечером. Мы наконец одни. Я устраиваю нашу комнату наилучшим образом, чтобы здесь можно было жить и работать. В свободные дни я готовлю, навожу лоск, учусь бегать по магазинам, стоять на холоде в очередях за продуктами. Я хожу на рынок, где втридорога продают фрукты, овощи, мясо. Еще, конечно, я могу покупать на валюту в "Березке". Здесь можно найти все, чего нет в магазинах: американские сигареты, растворимый кофе, туалетную бумагу и даже яйца, картошку, салат, которых иногда нет неделями. У тебя много приятелей среди директоров продуктовых магазинов. Чтобы порадовать тебя, они оставляют нам дефицитные вещи: парное мясо, копченую рыбу, свежие фрукты. Ты приносишь все эти сокровища домой, для меня. Сам ты ешь мало, и тебе безразлично, что у тебя в тарелке.

Ты работаешь день и ночь. Утром ты уезжаешь в театр на репетицию, днем ты снимаешься или у тебя концерт, вечером ты играешь спектакль, ночью ты пишешь стихи. Ты спишь самое большое — четыре часа, но, кажется, тебя не утомляет этот адский ритм, жизнь так и кипит в тебе. Со сцены ты мне бросаешь знаменитые слова из спектакля "Послушайте!" Маяковского: "Нам тридцать лет, полюбим же друг друга..." В "Жизни Галилея" Брехта ты кажешься великаном в своем длинном халате. Но вот заканчивается четырехчасовой спектакль, и я вижу тебя похудевшим, с лихорадочно блестящими глазами, но готовым сесть за маленький столик, зажатый между кроватью и окном, чтобы писать всю ночь и, разбудив меня под утро, читать набросанные строки.

Мы счастливы. Власти пока что закрывают глаза на нашу идиллию. Вся Москва об этом говорит, но ведь моя работа почти закончена, и все думают, что я вернусь во Францию и быстро забуду то, что они принимают за каприз актрисы.

Однажды вечером я жду тебя. Ужин остывает на кухонном столе. Я смотрела скучную программу по телевизору и уснула. Среди ночи я просыпаюсь. Мигает пустой экран телевизора. Тебя нет. Телефон настойчиво звонит, я беру трубку и впервые слышу незнакомый голос, который временами заглушают стоны и крики: "Он здесь, приезжайте, его надо забрать, приезжайте быстрее!" Я с трудом разбираю адрес, я не все поняла, мне страшно, я хватаю такси, бегом

поднимаюсь по едва освещенной лестнице, где пахнет кошками. На последнем этаже дверь открыта, какая-то женщина ведет меня в комнату. Я вижу тебя. Ты лежишь на провалившемся диване и жалко морщишься. Пол уставлен бутылками и усеян окурками. На столе — газета вместо скатерти. На ней ели соленую рыбу. Несколько человек валяются по углам, я их не знаю. Ты пытаешься подняться, ты протягиваешь ко мне руки, я дрожу с головы до ног, я беру тебя в охапку и тащу домой.

Это мое первое столкновение с тем, другим миром, впервые в жизни я увидела, как засасывает людей омут мертвой пьянки. Ты очнулся больной, злой, но полный надежды. Это продолжалось всего несколько часов, и ты остановился. Тебе трудно в это поверить — хватило одного моего присутствия. А ведь никому до сих пор не удавалось остановить это безумие, в котором ты тонул. Отныне я — порука твоей выдержке.

Твоя мать полна благодарности и приписывает мне всяческие добродетели. Она никогда не видела, чтобы в полном бреду ее сын согласился бы вернуться домой. Я — единственная и неповторимая, я — твоя спасительница. Такая легкая победа воодушевила меня, я уверовала в собственное могущество и, не раздумывая, приняла посвящение в этот сомнительный сан.

Мне пора уезжать, работа закончена. Я покидаю Москву, прожив здесь около года. За это время я пару раз съездила во Францию, чтобы выполнить обязательства по контрактам, но теперь у меня нет больше официального повода, чтобы вернуться. Что ж, осталось собрать чемоданы — и актриса уезжает. Хотя, конечно, меня пригласили на июльский кинофестиваль в качестве гостя. Мы оба просто убиты. У тебя нет никакой надежды приехать ко мне. Ты, как говорят здесь, "невъездной". Просить визу и думать нечего. Считается, что ты — "одиозная личность", ни больше ни меньше. Кроме того, если в визе откажут — то уже окончательно. Бюрократическая машина никогда не дает задний ход.

Нам кажется невозможным прожить друг без друга те три месяца, которые отделяют нас от фестиваля. В аэропорт мы приезжаем в полном отчаянии.

Оформление закончено, и тут кто-то из таможенников, твой поклонник, разрешает тебе в виде исключения пройти со мной в зал ожидания, где уже сидят, скучают, едят и пьют

несколько десятков пассажиров. Погода отвратительная — сыплет снежная крупа, сильный ветер, низкая облачность, самолеты не летают. Мы сидим на скамейке. Благодаря плохой погоде нам досталось еще несколько минут счастья. От "Мосфильма" меня провожает рыжий молодой человек. Он должен довести меня прямо до трапа, чтобы не было никаких неожиданностей. Я с ним едва знакома, он — из администрации, на съемках я с ним не сталкивалась, но по пути в аэропорт он ни с того ни с сего разоткровенничался и сообщил мне, что у него жена должна вот-вот родить и что это будет их первый ребенок. И когда мы узнаем, что рейс задерживается, молодой человек начинает заметно нервничать.

Мы с тобой сидим, прижавшись друг к другу, совсем одни в толпе спящих людей. Ты говоришь, что жизнь без меня невыносима, я отвечаю, что и сама плохо себе представляю жизнь без тебя. Объявляют роковой рейс "Эр Франс", мы обнимаемся, чуть не плача, я ухожу в глубину зала, но тут металлический голос вносит поправку: рейс задерживается на четыре часа. Я бегом бросаюсь к тебе — еще несколько часов отсрочки!

Ресторан набит битком, но один из официантов узнает тебя и устраивает для нас три места. На рыжего жалко смотреть — его жена в предродовой палате. Мы с тобой — эгоисты, как и все влюбленные: разговариваем только друг с другом, ни на кого не обращаем внимания. Ты говоришь, что я должна как можно быстрее вернуться. Я клянусь тебе, что при первой же возможности приеду туристкой. Я только должна уладить проблемы с детьми, с домом — бог с ней, с работой, могу я, в конце концов, немного остановиться, я действительно очень устала! Несколько недель отдыха в Москве пойдут мне на пользу. Жалею я только об одном — что ты не можешь уехать из города. Я страстно люблю горы. Ты написал про них одну из самых известных своих песен. Она стала теперь гимном альпинистов. Но тебя связывает театр, ты играешь каждый вечер, а значит — прощайте горы!

Эти мечты как-то отвлекли нас, и, когда пассажиров снова приглашают на посадку, мы расстаемся взволнованные, но уже без слез. Особенно доволен рыжий. Я иду к выходу, как вдруг меня останавливает громкоговоритель: у самолета обледенели крылья, и нужно ждать, когда их разморозят компрессором. Рейс задерживается на неопределенное время...

Уже стемнело, снова поднимается буря. Благодаря поклоннице-стюардессе мы все втроем устроились в каком-то

закутке и курим сигарету за сигаретой. Рыжий то и дело бегаёт звонить и каждый раз возвращается в отчаянии: "Все еще никак". И снова уходит. Мы как в бреду. Ты требуешь, чтобы я переехала жить в Москву, чтобы я стала твоей женой, чтобы привезла с собой детей. Я соглашаюсь, меня воодушевляет твоя решительность. Конечно, я могу все бросить, приехать жить с детьми к твоей матери, конечно, я найду здесь работу, конечно, мы будем счастливы все вместе, у нас обязательно все получится, меня ничто не пугает — любовь сильнее всего остального.

Рыжий возвращается уже немного навеселе. Теперь ему хочется поговорить о жене, о будущем ребенке — все это так чудесно, так замечательно! Мы слушаем его, он действительно появился кстати. Мы только что неосторожно забрались на самую вершину будущего, не подумав, как страшно падать с такой высоты. На мне трое детей и мать, большой дом. Я много работаю и хорошо зарабатываю, я люблю свою профессию — дело, которым занимаюсь с десяти лет, — я, в конечном счете, неплохо живу. У тебя двое детей, бывшая жена, которой ты помогаешь, девятиметровая комната в квартире у матери, ты получаешь 150 рублей в месяц, на которые, в лучшем случае, можно купить две пары хороших ботинок. Ты работаешь как проклятый, ты обожаешь свою работу, ты не можешь ездить за границу. Если соединить наши жизни в одну, получится просто не жизнь.

Рыжий возвращается вне себя от радости: у него родилась дочь, все прошло хорошо, можно выпить за здоровье матери. Мы чокаемся теплым шампанским. Мы с тобой устали, измучились, мы — почти чужие, и, когда наконец пассажиров снова приглашают на посадку, мы расстаемся даже с каким-то облегчением. Буря пронеслась и в наших душах, разметав безумные надежды, несбыточные мечты.

Как только я возвращаюсь к себе в Мэзон-Лаффит, звонит телефон. Это ты. Ты провел эти несколько часов на почте и, ожидая, пока тебя соединят с Парижем, написал стихотворение и читаешь его мне:

*Мне каждый вечер зажигает свечи,
и образ твой окуривает дым.
И не хочу я знать, что время лечит,
что все проходит вместе с ним.*

*Теперь я не избавлюсь от покоя:
ведь все, что было на душе — на год вперед,
не ведая, она взяла с собою —
сначала в порт, а после — в самолет...*

*В душе моей — пустынная пустыня.
Так что стоите над пустой моей душой?!
Обрывки песен там и паутина.
А остальное все она взяла с собой.*

*В моей душе все цели без дороги,
поройтесь в ней — и вы найдете лишь
две полуфразы, полудиалоги,
а остальное — Франция, Париж...*

*И пусть мне вечер зажигает свечи,
и образ твой окуривает дым...
Но не хочу я знать, что время лечит,
что все проходит вместе с ним.*

Заказанные минуты разговора истекают, и ты только успеваешь прокричать мне вместо "до свидания": "Возвращайся скорей, без тебя я не знаю каких глупостей натворю!"

Я немедленно начинаю искать повод для получения визы. Единственной уважительной причиной мне кажется работа. Наконец мне удастся уговорить одного режиссера с "Мосфильма" пригласить меня на пробы. Но все это так непросто, связь с Москвой капризна, мое предполагаемое участие должно контролироваться Министерством культуры СССР, и на все нужно разрешение министра.

Мы находим более простой выход. В рамках турпоездки за мой счет я попрошу продлить мне визу для чтения и обсуждения сценария будущего фильма. Эта небольшая уловка поможет мне раза два. Мне очень скоро станет ясно, что достаточно купить туристическую путевку, заплатить за гостиницу, в которой я не живу, и за еду, которую я не ем, чтобы иметь возможность приехать и провести несколько дней с тобой. Уже к тому времени я понимаю, что к моим постоянным разъездам относятся благосклонно, как, впрочем, и к нашей совместной жизни, и что я пользуюсь преимуществом по сравнению с другими благодаря вступлению в ФКП, нашей с тобой известности, а главное — восхищению, которое ты вызываешь во всех слоях советского общества.

У одной моей подруги, француженки русского происхождения, не было таких привилегий. Она влюбилась в грузинского художника и хотела выйти за него замуж. Но, несмотря на то что она устроилась работать во французское посольство, несмотря на многочисленные официальные просьбы, им очень долго не удавалось получить разрешение на брак. И к тому времени, когда наконец они получили это разрешение, она должна была уехать во Францию. И потом ей стоило неимоверных усилий вновь получить визу, чтобы повидаться с мужем.

ОВИР, всемогущая организация, которая выдает визу и вид на жительство иностранцам, живущим в Москве, располагается в здании, которое впоследствии станет для меня по-домашнему знакомым. Здесь распоряжается высокопоставленный чиновник, встречи с которым мне удастся добиться в первый же приезд.

На сегодняшний день ситуация проста. Я — интуристка, у меня виза на две недели, и я могу ее продлить, если пожелаю, но жить я должна только в гостинице. Если я хочу жить у друзей или у тебя, мне нужно иметь приглашение, а на него — соответствующее разрешение, где должна быть представлена дата въезда и выезда. Но у меня такая работа, что я никогда не могу заранее указать точную дату. Иногда я свободна всего три-четыре дня. И я хочу приезжать несколько раз в году. Такие случаи нечасто встречаются, и я иду объясняться в кабинет главного. Я рассказываю ему о своей жизни, о детях, о матери, о моих чувствах к тебе — я даже вспотела от смущения. Этому человеку я за час рассказала больше, чем моим самым близким друзьям за всю жизнь. Результат был неожиданным. "Почему вы не переедете жить сюда?" — спрашивает он с лукавым видом. Я снова пускаюсь в объяснения, я говорю о работе, о своих обязанностях, и чем больше говорю, тем больше меня охватывает чувство бессилия. Я ухожу, не получив ничего, кроме вежливых доброжелательных слов и крайне двусмысленного "до свидания". И правда, мы еще встретимся. Надо сказать, что я ни разу не получила категорического отказа и никогда не была вынуждена отложить поездку больше, чем на несколько дней. С годами наши отношения с шефром ОВИРа стали почти сердечными.

За эти годы я попадала во всевозможные категории: туристка, гость по приглашению, временно проживающая, непроживающая супруга, супруга с незакрепленным местом жительства, потом — с закрепленным. Единственный статус,

от которого я отказалась, — это "супруга с постоянной пропиской" — ведь в этом случае мне самой пришлось бы ждать соизволения ОВИРа, чтобы поехать во Францию, на что ни ты, ни я не могли согласиться.

Совместив приглашение на фестиваль, дубляж фильма по Чехову и туристическую поездку, я получила вид на жительство на несколько недель. Июньским утром я приезжаю в Москву с чемоданами, набитыми одеждой, бельем, пластинками, книгами, самыми разными продуктами, даже итальянскими макаронами, кофе, оливковым маслом и, конечно же, лекарствами. Всем друзьям что-нибудь нужно: антибиотики, противозачаточные средства, лекарства для больных раком и многое другое. Еще я привезла подарки родственникам, приятелям, партнерам по фильму. Каждая встреча превращается в праздник, я потрясена тем, как счастливы эти люди получить рубашку, пластинку или белье из Парижа.

Наша жизнь потихоньку налаживается. Я сама подрезаю тебе волосы, которые ты отрастил по моей просьбе, ты шеголяешь в модной одежде, щелкаешь каблуками новых сапог, по три раза в день меняешь куртки, что доставляет тебе огромное удовольствие. Каждому, кто заходит к нам в гости, ты даешь пощупать их мягкую, приятно пахнущую кожу. И главное — ты просто упиваешься музыкой: чтобы слушать пластинки, я привезла проигрыватель. Мы без конца ставим "Порги и Бесс". Армстронг и Элла Фитцджеральд заставляют тебя рычать от удовольствия. Ты заново открываешь для себя произведения великих классиков. Конечно, в репертуарах московских театров все это есть, но на концерты ходить ты не привык, да и вечно не хватает времени.

Я не работаю, мы все время вместе, я хожу на твои спектакли и концерты, организованные под видом встреч актера с публикой, где между рассказами о театре ты поешь свои новые песни. Публика в безумном восторге. Меня все больше интригует твой успех: тебя не отпускают со сцены, к твоим ногам то и дело летят записки, в которых зрители просят спеть ту или другую песню. Каждый вечер мы приносим домой охапки цветов.

Как-то раз мы гуляем по одной из центральных улиц. День выдался жаркий, все окна распахнуты настежь, и из каждого рвется твой голос. Мне трудно в это поверить, но никаких сомнений быть не может: я узнаю твой хрипловатый тембр, твою неповторимую манеру исполнения. Ты идешь

рядом со мной и все шире улыбаешься. Теперь я сама могу убедиться, как тебя здесь любят. Ты счастлив и горд... Однажды именно эта больно задетая гордость приведет к трагедии.

Фестиваль начался, все мои сестры недавно приехали в Москву. Вечером мы вместе идем к моей подруге Елочке. У нее, вдовы Осипа Абдулова, хорошая квартира в центре. Я заранее радуюсь этой встрече. Мои сестры мельком видели тебя сразу же по приезде, но сегодня вечером вы по-настоящему познакомитесь.

Днем для гостей фестиваля устраивают большой прием. Все делегации собираются у гостиницы "Москва", и оттуда их везут на автобусах во Дворец. Народу — тьма, но все прекрасно организовано, атмосфера веселая, мы все давно знаем друг друга, и такие встречи киношников всегда вызывают бурю эмоций. Ты держишь меня за руку, и мы подходим к гостинице. Здесь я знакоблю тебя с моими друзьями — французами, итальянцами и даже с одним японцем, с которым я несколько лет назад работала в Токио, и мы стараемся понять друг друга в многоязычном гуле.

Когда подходит моя очередь, я поднимаюсь в автобус, ты — за мной. Не успеваю я сесть, как слышу громкие возгласы. Какой-то тип, которому поручено проверять приглашения, грубо выпихивает тебя из автобуса. Я бросаюсь к нему, пытаюсь объяснить, но ты останавливаешь меня выразительным взглядом. Ты бледен. Унижение, так часто встречающееся в твоей жизни, вырастает сейчас до невыносимых размеров. Ты не хочешь ударить в грязь лицом перед этими восторженными иностранцами. Усталым движением руки ты даешь мне понять, что все бесполезно. Двери закрываются, автобус трогается. Я вижу тебя в окно. Ты стоишь на тротуаре — маленький оскорбленный человек и, совсем как Чарли Чаплин, со злостью пинаешь ногой кучу пригласительных билетов, валяющихся на асфальте.

Мое положение иностранной актрисы обязывает меня досидеть до конца официальной части. Но при первой же возможности я исчезаю с приема. Когда я приезжаю к Елочке, мои сестры уже там. Как это и бывает в Москве, о скандале в автобусе уже известно. Все меня утешают и уговаривают не придавать большого значения этой истории. Ты все не приходишь, и я начинаю думать о самом худшем. Около часа ночи распахивается дверь, ты делаешь несколько неверных шагов по коридору, ведущему в столовую, и с блаженной улыбкой падаешь на диван, совершенно пьяный. Праздник тем

не менее возобновляется. Сестры зачарованы атмосферой московских вечеров в гостях. Я тоже успокаиваюсь. Музыка, смех, то и дело подают большие блюда с изысканной едой, стаканы наполняются, едва опустев. Ты — рядом и даже улыбаешься, пусть немного через силу. И, в конце концов, я думаю, что ты — молодец и хорошо держишься. Веселье продолжается...

Через некоторое время, проходя мимо ванной, я слышу стоны. Ты нагнулся над раковиной, тебя рвет. Я холодею от ужаса: у тебя идет кровь горлом, забрызгивая все вокруг. Спазм успокаивается, но ты едва держишься на ногах, и я тащу тебя к дивану.

По совету одного из гостей мы вызываем врача — приятеля артистов, человека светского и, как выяснится потом, ничего не смыслящего в медицине. Он предписывает какие-то капли и полный покой. Гости разошлись. Сестры волнуются и ждут моего звонка в гостинице. Мы остались вчетвером — Елочка, Сева, ты и я. Кровь уже почти до краев наполнила таз, поставленный возле кровати. Только приоткрыты глаза, молящие о помощи. Я прошу, чтобы срочно вызвали "скорую", у тебя уже не прощупывается пульс, меня охватывает панический ужас...

Осмотрев тебя, два врача "Скорой помощи" и санитар реагируют до смешного просто: слишком поздно, слишком большой риск, тебя нельзя перевозить. Им не нужен покойник в машине — это повредит плану.

По выражению лиц моих друзей я понимаю, что приговор обжалованию не подлежит. Тогда я встаю в дверях и кричу, что, если они не отвезут тебя немедленно в больницу, я устрою международный скандал. Я ору на этих бедняг, которым мало платят, которых ни во что не ставят, которые обязаны выполнять план, а не спасать людей. Они пугаются и наконец понимают, что умирающий — Высоцкий, растрепанная и волящая женщина — его жена, французская актриса. После короткого совещания, чертыхаясь, они, подхватив за четыре конца одеяло, на котором ты лежишь, выносят тебя из квартиры. При спуске по лестнице тебя мотает из стороны в сторону. Несмотря на их протесты, я тоже сажусь в машину — отчаяние придает мне силы.

Прием больных по "скорой" в Москве — точно такой же, как повсюду в мире. Двери, как в метро захлопываются за тобой. Три часа ночи. В коридоре пахнет эфиром. Несколько человек спят на банкетках.

Я прилипаю к дверной щели. Там хлопочут врачи в стерильной форме бледно-зеленого цвета. Мне виден небольшой кусочек операционной, там — непрерывное движение. Значит, они занимаются тобой, еще есть надежда. Очень скоро я разочаровываюсь. Я прижимаюсь к стене, чтобы пропустить каталку, на которой лежит женское тело, слабое и обмякшее. Я понимаю, что суета, которая, как мне казалось, служит залогом твоего спасения, здесь просто никогда не прекращается. Я провожу несколько часов, не отходя от двери. Друзья принесли мне поесть, сигарет, шаль. В коридоре у меня появились знакомые: родители одного парня, которого привезли с тяжелыми ожогами; мать молодой женщины, которую мы видели на каталке, — ее выбросил с девятого этажа ревнивый жених; маленькая старушка, у которой муж попал под поезд. Всех нас объединяет беда. Нет больше иностранной актрисы, стариков, молодых. Я ничем не отличаюсь от них — обычная женщина, лихорадочно ожидающая вестей о муже. Я непрерывно встаю, подхожу к двери, вглядываюсь в усталые лица врачей.

Неимоверно долгий день наконец прошел. Я несколько раз тщетно пыталась поговорить с кем-нибудь из врачей. Они упорно молчат. Нужно ждать. Поздно вечером — прошло уже шестнадцать часов, как я жду, — один из них, невысокий человек с живыми глазами и торчащими усами, приглашает меня войти. Я попадаю в крохотную комнатку. По углам — разорванная, заляпанная кровью одежда, томпоны, пустые ампулы... Направо — проем, выходящий в большую, ослепительно ярко освещенную палату. На каталках лежат голые тела, опутанные трубками. Я узнаю среди них твое, такое беспомощное и словно выставленное напоказ, слышу твое отрывистое дыхание. Врач успокаивает меня: "Было очень трудно. Он потерял много крови. Если бы вы привезли его на несколько минут позже, он бы умер. Но теперь — все в порядке..." Я слушаю его и, не отрываясь, смотрю на тебя. Мне объясняют, что у тебя в горле порвался сосуд, что тебе больше нельзя пить и нужен длительный отдых. Остальные врачи — четверо мужчин и женщина — говорят мне, как они счастливы, что спасли тебя, как они рады познакомиться со мной, несмотря на то что обстоятельства не из веселых. Я сразу полюбила этих людей. Буквально по кускам сшивая пациентов, которых, кажется, уже невозможно спасти, они рассказывают анекдоты, смеются, курят и выпивают иногда по глотку спирта, занюхивая его кусочком черного хлеба, как это принято в России.

Меня усаживают на табуретке в углу маленькой комнатки, и я могу тебя видеть. Мимо постоянно провозят вновь поступающих больных. И в мгновение ока раздевают их, шивают, колют, моют, перевязывают — а я смотрю на тебя. Ты дышишь, ты жив.

Игорек, Вера, Вадим, Толя и Леня хорошо поработали. Отныне они будут служить тебе верой и правдой, как в ту страшную ночь.

Больница представляет собой великолепное строение XVIII века, выкрашенное в небесно-голубой и белый цвета. Я каждый день прихожу сюда, приношу тебе поесть, ты должен набираться сил. Я пичкаю тебя мясными бульонами, полусырыми бифштексами, свежими овощами и фруктами. У тебя начинают розоветь щеки.

В общей палате, где ты лежишь, только больные, перенесшие травму горла, — с ожогами или после удаления опухоли. Некоторые питаются через специальные воронки, напрямую соединенные с желудком. Но атмосфера при этом ничуть не мрачная. Пожилые нянечки ругают вас, как мальчишек, когда вы тайком курите, и вообще обходятся с вами по-свойски и ласково. Ты у них, естественно, любимчик.

Ты еще слаб, но уже потребовал, чтобы я принесла тебе гитару, бумагу, ручек. Ко всеобщей радости, ты поешь вполголоса, сочиняешь забавные песенки о соседях по палате, санитарях и врачах, о тысяче разных мелочей из жизни старой больницы. Палата становится концертным залом, и нянечкам потом бывает нелегко восстановить порядок.

В углу палаты — мужчина сумрачного вида с замкнутым выражением лица. Он не участвует в общем веселье. Он сжег себе горло кислотой, приняв ее за водку. Ему сделали множество операций и пересадок. Он в больнице уже много лет и очень страдает. Глаза его проясняются только тогда, когда он видит маленькую узбекскую девочку лет шести с длинными иссиня-черными косичками. Она так же мучается, как и он, — она тоже сожгла себе горло, глотнув какой-то едкой жидкости, и вот уже три года лежит в больнице. Это маленькое существо царапается и кусается, как дикий котенок. Ее единственный друг — человек с воронкой. Она приходит и часами сидит с ним. Они о чем-то шепчутся, тихо смеются. Она гладит его плохо выбритые щеки, он берет ее на руки и баюкает. Когда ты поешь, маленькая больная смотрит на тебя снизу вверх, и в ее черных блестящих глазах я чув-

ствую любопытство и удивление. Ей это нравится. Может быть, ты тоже станешь ее другом.

Однажды к сумрачному мужчине приходит старый приятель оттуда, где он раньше жил. Видно, что пьяница. Он тайком сует ему под подушку бутылку крепленого вина — в России это называется портвейн — отвратительное пойло, отдаленно напоминающее дешевое порто, отрада алкашей. Пользуясь отсутствием нянечки, человек приставляет бутылку к воронке и, сверкая глазами, облизываясь и урча от удовольствия, выливает содержимое прямо себе в желудок. Эффект моментальный. Он принимается хохотать, ему тут же становится жарко, он срывает с себя одежду, швыряет воронку в другой конец палаты и нагишом, весь исполосованный швами, начинает отплясывать адскую джигу. Его сгоревшие голосовые связки не производят ни звука. Хрип, который мы слышим, вырывается откуда-то изнутри. Сначала мы тоже смеемся, но очень скоро это перестает быть забавным. Человек отбивается, когда нянечки пытаются его остановить, на помощь зовут санитаров, но ничего не помогает. Алкоголь удесятерил его силы, он становится буйным сумасшедшим. Вдруг открывается дверь и появляется маленькая узбечка. Она подходит к своему другу, берет его за руку, подбирает с пола пижаму и помогает ему одеться, шепчет успокаивающие слова таким же, как у него, странным голосом. Девочка опускается на колени перед кроватью и кладет голову на подушку рядом с ним. Через пять минут он засыпает. Девчушка по-матерински подтыкает ему одеяло, потом смотрит на всех нас по очереди обвиняющим взглядом и с огромным достоинством удаляется, скорчив нам напоследок ужасающую гримасу.

Твое выздоровление продолжается в Белоруссии. Один из друзей — режиссер Витя Туров, у которого ты снимался в фильме о партизанах, — привозит нас в деревню, уцелевшую в войне, где мы останавливаемся у милой бабки. Изба крошечная, зато есть хороший огород, а коза дает достаточно молока, чтобы каждое утро ты выпивал его, еще теплого, большую кружку. Мы проводим дни в прогулках по окрестностям. Витя показывает нам места, где четверть века назад шли жестокие сражения. А между тем природа так прекрасна! Идеально круглые озера окружены холмами. Начало осени, поля и лес — в золоте, еще тепло. Мы обнаруживаем бывшие партизанские стоянки, поросшие травой, — настоя-

щие подземные поселки. Мы проходим через обугленные развалины деревень — их не стали восстанавливать после войны, а оставили как памятники. В Белоруссии сотни Орадуров — деревень, в которых не выжил никто. Контраст между такой мягкой природой и зверством преступлений нас потрясает. Вечером мы сидим за столом в теплом свете керосиновой лампы. Старуха вспоминает...

В сорок четвертом в деревне оставалось только девять женщин от пятнадцати до сорока пяти лет, несколько старух, пять малолетних девочек и двое немощных стариков. Все мужчины от четырнадцати до семидесяти ушли на фронт или к партизанам. Немцы отступают — это разгром. Деревня чудом уцелела, но страшное предчувствие подтверждается: все мужчины убиты. С фронта пришли похоронки: "Погиб за Родину". От партизан — страшное сообщение: "Никого в живых из деревни такой-то". Когда женщины видят небольшую группу советских солдат с двадцатипятилетним капитаном во главе, решение их уже принято. Накормив и напоив мужчин, они топят баню. Каждая приносит чистое белье, на свежих постелях — россыпи вышитых подушек. Измученные солдаты засыпают, обретая после долгих месяцев войны это забытое счастье. В одной избе все не гаснет свет. Самая отважная из женщин говорит с молодым капитаном:

— То, о чем я попрошу сейчас, наверное, вас покоробит. Но постарайтесь понять. Война отняла у нас мужчин. Для того чтобы жизнь продолжалась, нам нужны дети. Подарите нам жизнь.

На несколько минут старуха умолкает. И, справившись со смущением, заканчивает свой рассказ:

— В соседней избе живет тракторист. Он — азиат, как и его отец. Почтальонша похожа на своих армянских предков, колхозная повариха — настоящая сибирячка...

Я тихонько плачу. Рассказанная старухой история лучше любой официальной пропаганды дает мне ощутить всю глубину трагедии, через которую прошла эта страна.

Мы идем спать на сеновал. Душистое сено — вместо постели. За перегородкой хрюкает свинья и протестуют потревоженные куры. Всю ночь ты вслух сочиняешь стихи. Строфы рождаются одна за другой. Возникают образы... Как и в самом начале, в школе, когда у тебя еще не было гитары, ты отбиваешь ритм рукой. В эту долгую ночь родились темы большинства твоих песен военного цикла.

Ты не любишь рассказов о войне, но, как у каждого

советского человека, они составляют часть твоей культуры. Этот народ, который ты глубоко любишь, находит в твоих песнях отголоски трагедии, не пощадившей ни одной семьи: двадцать миллионов погибших, миллионы инвалидов и сирот, тысячи разрушенных городов и деревень, стертых с лица земли.

На твоих концертах увешанные медалями ветераны плачут. Молодые задумчивы и серьезны. Твои песни делают для мира и памяти погибших больше, чем все фильмы, документы, памятники и официальные речи, вместе взятые. Родившись в тридцать восьмом году, ты в войне не участвовал. Ты совершил тогда свой маленький подвиг, прокричав в картонный рупор уже сильным, несмотря на пятилетний возраст, голосом, предупреждая, что зажигательная бомба упала на крышу одного из домов и надо вызвать пожарных.

Другое твое детское воспоминание более забавно. Когда немцы подошли к Москве, вас с матерью отправили в тыл. Вы жили в большом поселке, где из свеклы гнали спирт на горючее для танков и самолетов. Свекольным жмыхом кормили скот. И однажды работница повернула не ту ручку и не заметила, как спирт вылился в корм для животных. Те поели — и опьянели и учинили на улицах поселка настоящую вакханалию: коровы гонялись друг за другом и бодались, лошади ржали и перепрыгивали через изгороди в сады, свиньи катались по земле, а куры, утки и гуси пытались взлететь. Женщины и дети бегали по всему поселку, тщетно стараясь успокоить расходившуюся скотину. А потом животные стали засыпать. И вскоре весь поселок превратился в сонное царство... Там и сям фыркали во сне коровы и лошади да тихонько покудаhtывали куры.

На увеличенной фотографии красивый светловолосый сероглазый ребенок вопросительно смотрит в объектив. Возле него — большая овчарка. Это в Германии, в маленьком городке, где стоит гарнизон советских оккупационных войск. Тебе семь лет. Мать, прожив с тобой всю войну, решила на время поручить тебя отцу — военному в невысоком чине, жизнь которого приобрела неожиданную значительность в этом замкнутом мирке. Его новая жена — Женя, женщина мягкой восточной красоты, сразу же полюбила тебя. У нее никогда не будет детей. Ты останешься единственным. Несмотря на тоску ребенка, оторванного от матери, ты быстро понимаешь преимущество твоего положения — ты одет, как

принц, мачеха кормит тебя разными вкусностями... Правда, если все дети у тебя на Родине учатся в это время жизни по правилам сталинской эпохи, то ты воспитываешься прямо-таки на суррогате этих догм. В своем замкнутом кругу десяток офицерских семей живет под перекрестным наблюдением. От них несет лицемерием пополам с водкой. Твой отец играет в провинциальном драмкружке, что позволит ему через много лет говорить, что он был артистом, а заодно и объяснить твою одаренность, как естественное продолжение своей... Все, что разрешалось бы русскому мальчику в твоей стране, тебе совсем или почти совсем запрещено. Ты не можешь сам себе выбирать товарищей для игр — только приятелей из твоей касты, равных тебе по привилегиям. Никаких прогулок в одиночку, контролируется каждый твой шаг, тебя ежеминутно проверяют, опасаясь покушения или детских шалостей, которые "всегда плохо кончаются". И правда, однажды вы с ребятами находите склад оружия и взрываете запалы гранат. Трое мальчиков на всю жизнь остаются слепыми и изуродованными. По чистой случайности ты единственный остаешься невредим. Ты перестаешь выходить на улицу, и все преимущества, которые мать усматривала в твоём пребывании в Германии, обернулись на деле серьезными потерями.

Ты острее, чем другие ребята твоего поколения, чувствуешь на себе сталинские наставления, клевету, чванство и произвол. Ты заклеишь все это в своих песнях. Придавленный окружающей тебя обыденностью, отмеченный исторической обстановкой — "победителей не судят", — ты искалечен не физически, как твои товарищи, но душевно. Твои поэтические и чисто юношеские фантазии, уже тогда сложные и противоречивые, похоронены под слоем "хороших поступков", торжественных выходов в свет — "на людей посмотреть и себя показать". А после сытного ужина никто даже не подумает поговорить с обеспокоенным ребенком, который ложится спать и мечтает. К счастью, есть нежная и любящая мачеха. Она смягчает для тебя этот период терпеливой заботой и тем, что осталось в ней от древней культуры Армении — ее родной земли.

Только ради нее я заставляла тебя видеться с отцом. Все это время я тянула тебя за рукав, я назначала эти встречи, я водила тебя на скучные ужины. Тебе не о чем было с ним говорить, и говорила я.

Гораздо позже я поняла: из-за всего этого — отца, матери,

обстановки и уже тогда изгнания — ты начал с тринадцати лет напиваться.

Все начинается обычно с рассказов или анекдотов. Ты с удовольствием возвращаешься к смешным деталям — и бог его знает, смешно ли это? — но все смеются. Таково твое искусство актера. Любая рассказанная тобой история становится комическим номером. Сначала я тоже смеюсь, прошу рассказать снова. Я люблю, когда ты рассказываешь, искоса поглядывая на меня, изображаешь разных людей, с которыми где только ты не знакомился. Я люблю, когда ты словно светишься от радости.

Теперь наступает следующий этап. Ты заказываешь мне пантагрюэльские ужины, ты зовешь кучу приятелей, тебе хочется, чтобы в доме всегда было много народу. Весь вечер ты суетишься возле гостей и буквально спаиваешь их. У тебя блестят глаза, ты смотришь, как кто-нибудь пьет с почти болезненной сосредоточенностью. На третий или четвертый день почти непрерывного застолья, наливая гостям водки, ты начинаешь нюхать ее с видом гурмана. И вот ты уже пригубил стакан. Ты говоришь: "Только попробовать". Мы оба знаем, что пролог окончен.

Начинается трагедия. После одного-двух дней легкого опьянения, когда ты стараешься во что бы то ни стало меня убедить, что можешь пить, как все, что стаканчик-другой не повредит, что ведь ты же не болен, — дом пустеет. Нет больше ни гостей, ни праздников. Очень скоро исчезаешь и ты...

В начале нашей с тобой жизни я часто попадалась на эту удочку. И всегда возникал один и тот же вопрос:

— Я же вижу, да ты и сам чувствуешь, что начинается очередной приступ. Почему не разбить эту проклятую бутылку, когда еще не поздно?

Ответ будет ясно сформулирован годами позже:

— Потому что я уже пьян до того, как выпью. Потому что меня заносит. Потому что на самом деле я болен. Это обычно случается, когда ты уезжаешь из Москвы, Марина, особенно, когда ты уезжаешь надолго.

Действительно, мы перебираем в памяти мои спешные возвращения, почти всегда в самой середине съемок, гастролей или именно в тот момент, когда я должна заниматься детьми.

Как только ты исчезаешь, в Москве я или за границей,

начинается охота, я "беру след". Если ты не уехал из города, я нахожу тебя в несколько часов. Я знаю все дорожки, которые ведут к тебе. Друзья помогают мне, потому что знают: время — наш враг, надо торопиться. Если на беду я приезжаю лишь несколько дней спустя и у тебя было время улететь на самолете или уплыть на корабле, поиски усложняются. А иногда ты возвращаешься сам, как это было одной весенней ночью.

Я сижу дома — в квартире, которую мы снимаем на окраине Москвы. Началась оттепель, и земля вокруг строящихся домов превратилась в настоящее месиво. Чтобы выбраться к автобусу или в магазин, нужно идти по досочкам, проложенным мостками через лужи липкой грязи... Я не сплю и, когда раздастся звонок в дверь, иду открывать. Какой-то глиняный человечек протягивает ко мне руки. Густая коричневая жижа медленно сползает с него на коврик, только серые глаза остаются светлым пятном на липкой маске. Потом лицо оживает, ты начинаешь хохотать как сумасшедший, довольный, что испугал меня, и принимаешься объяснять, что собирался прийти домой вчера вечером, но поскользнулся и упал в глубокую яму и, несмотря на сверхчеловеческие усилия, не смог оттуда выбраться. Если бы не случайный прохожий, ты бы умер от холода, утопая в грязи. Ты так рад, что жив и что ты здесь и вдобавок протрезвел благодаря нескольким часам вынужденного сидения в яме, что я тоже начинаю смеяться, отмывая тебя под душем.

Но обычно я нахожу тебя гораздо позже, когда твое состояние начинает наконец беспокоить собутыльников. Сначала им так приятно быть с тобой, слушать, как ты поешь, девочки так польщены твоим вниманием, что любое твоё желание для них — закон. И совершенно разные люди угощают тебя водкой и идут за тобой, сами не зная куда. Ты увлекаешь их по своей колее — праздничной, безумной и шумной. Но всегда наступает время, когда, наконец уставшие, протрезвевшие, они видят, что вся эта свистопляска оборачивается кошмаром. Ты становишься неуправляем, твоя удесятеренная водкой сила пугает их, ты уже не кричишь, а воешь. Мне звонят, и я еду тебя забирать.

Однажды какая-то девица, оказавшаяся в такой момент с тобой, решает отвезти тебя в больницу, где ее брат работает врачом. На пятый день мы находим тебя в тяжелейшем состоянии. Нам стоит огромного труда перевезти тебя в институт Склифосовского, потому что твои новые друзья не хотят

тебя отпускать, да и запрещено это в административном порядке. Приходится действовать через главного врача. И еще раз ты был на волосок от смерти, и тебя спасла только компетентность Веры, Вадима, Игорька и их бригады.

А иногда мне звонят из другого города, откуда-нибудь из дальнего уголка Сибири или из порта, где стоит корабль, на котором ты оказался. Если, несмотря на то что я — иностранка, мне туда можно приехать, я еду. Если нет — я жду, пока твои приятели привезут тебя. И вот тогда начинается самое трудное: я запираюсь с тобой дома, чтобы отнять тебя от бутылки. Два дня криков, стонов, мольбы, угроз, два дня топтания на месте, потери равновесия, скачков, падений, спазмов, рвоты, безумной головной боли. Я вылила всю выпивку, но, если, к несчастью, где-нибудь в доме остается на доньшке немного спиртного, я бегу наперегонки с тобой, чтобы вылить и это, прежде чем ты успеешь глотнуть. Постепенно ты успокаиваешься, ты урывками спишь, я стерегу тебя и бужу, когда тебе сняться кошмарные сны. Наконец, ты засыпаешь спокойным сном, и я тоже могу отдохнуть несколько часов. Мне это необходимо, потому что, как только ты проснешься, начнется следующая фаза, может быть, самая тяжелая. Ты называешь это моральным похмельем. Ты уже не страдаешь физически, но вернулось сознание, ты подводишь итоги. Они часто ужасны. Отмененные спектакли, ссоры с Любимовым, выброшенные деньги, потерянная или раздаренная одежда, ссадины и синяки, ножевые раны, товарищи, пострадавшие в многочисленных дорожных авариях, мои прерванные съемки, моя тревога и все обидное, что ты наговорил мне, — а ты будешь помнить свои слова, даже если я никогда больше не заикнусь об этом.

И тут мне надо тебя успокоить и, подавив в себе гнев, простить. Потому что тебе стыдно и, пока я не обниму тебя и не укачаю, как ребенка, ты безутешен.

Всего два раза в жизни у меня не хватило на это сил. Первый раз — в самом начале нашей совместной жизни, когда в бреду ты называл меня не моим именем. Второй раз — когда ты вышвырнул меня в коридор и заперся в ванной, чтобы допить бутылку. Задыхаясь от ярости, я хлопнула дверью и послала тебя к черту. В обоих случаях, естественно, ты провел полгода в адских мучениях. И я тоже.

Молодой человек, встречающий нас у входа, весь взмок. Впрочем, мы тоже. Как и во всех московских учреждениях,

во Дворце бракосочетания слишком сильно топят. Мы оба в водолазках, ты — в голубой, я — в бежевой. Мы уже сняли пальто, шарфы, шапки, еще немного — и разденемся догола. Но торжественный тон работника загса заставляет нас немного уgomониться. Мы стараемся вести себя соответственно случаю, но все-таки все принимает комический оборот. День и час церемонии были назначены несколько дней назад. Мы немного удивлены той поспешностью, с какой нам было позволено пожениться. Наши свидетели — Макс Леон и Сева Абдулов — должны были бросить в этот день все свои дела. Рано утром я начинаю готовить свадебное угощение, но все пригорает на электрической плитке. Мы расположились на несколько недель в малюсенькой студии одной подружки-певицы, уехавшей на гастроли. Я расставила мебель вдоль стен, чтобы было немного просторней. Но так или иначе, в этом крошечном пространстве могут усесться и двигаться не больше шести человек.

Тебе удастся упросить полную даму, которая должна нас расписать, сделать это не в большом зале с цветами, музыкой и фотографом, а в ее кабинете. Нам бы и в голову не пришло, что именно заставило ее согласиться! Она это сделала вовсе не из-за нашей известности, не потому, что я — иностранка, не потому, что мы хотели пожениться в узком кругу друзей. Нет! Что возобладало, так это — неприличие ситуации: у нас обоих это третий брак, у нас пятеро детей на двоих! Пресвятой пуританизм, ты спасаешь нас от свадебного марша! А если не будет церемонии, можно и не наряжаться. В конце концов, мы так и остаемся в надетых с утра водолазках.

Ты уехал рано, тебе во что бы то ни стало хотелось устроить мне какой-то сюрприз. Для этого тебе пришлось убедить Любимова отменить несколько спектаклей в театре. Ты возвращаешься с довольным видом и, хлопая себя по карману, шепчешь: "Порядок". Шофер такси, который везет нас во Дворец, желает нам всего, что только можно пожелать. Он без конца оборачивается к нам, чтобы еще раз сказать, как он счастлив, что это — лучший день в его жизни, а также, конечно, и в нашей. При этом он едва не сталкивается со встречной машиной, и я чувствую, что этот день может стать и последним днем нашей жизни. Я кричу, резкий поворот руля нас спасает, мы стучаемся головами о крышу машины — и вот уже в полубезумном состоянии мы пускаемся по коридорам вслед за молодым человеком, который

ждал нас у входа. Для него это тоже счастливейший день в его жизни, он заикается, вытирает лоб сиреневым платочком, в десятый раз повторяет: "Вы не можете себе представить..." Он, кстати, так и не сказал, что именно мы не можем себе представить. После прогулки по подвалам, полным труб и странных запахов, мы подходим наконец к двери кабинета. Там нас ждут Макс и Сева, тоже несколько растерянные. Мы обнимаемся.

Каждый раз, когда протокол не соблюдается буквально, все смещается и доходит до абсурда. Мы стоим перед закрытой дверью, вдалеке непрерывным потоком льются приглушенные звуки свадебного марша, до нас доносятся смех, аплодисменты, затем — сакраментальное: "Улыбочку!.." И мы насчитываем, таким образом, уже шесть свадеб.

Один из служащих, бледный и накрахмаленный, открывает перед нами дверь. Для него это не самый прекрасный день в его жизни — обычный день, похожий на все другие. Он несколько не удивлен, что ему приходится вести по этому торжественному зданию, покрытому позолотой и красными коврами, четверых хохочущих людей. Он не узнает ни тебя, ни меня, никого. Он лишь выполняет определенную операцию на конвейере бракосочетаний.

Наконец, мы вчетвером рассаживаемся в двух креслах напротив вспотевшей дамы. На фотографии, которую сделал Макс, мы с тобой похожи на старательных студентов, слушающих серьезную лекцию, только ты сидишь на ручке кресла, и у нас слишком лицемерный вид. На нашу свадьбу получено добро, от которого, как известно, добра не ищут, и после "поздравительной речи" мы чуть было сами не уходим пододбру-поздорову:

— Шесть браков, пятеро детей, к тому же — мальчиков! (Очевидно, по мнению этой дамы, с девочками дело обстояло бы проще.) Уверены ли вы в своем чувстве? Отдаете ли вы себе отчет в серьезности такого шага? Я надеюсь, что на этот раз вы все хорошенько обдумали...

Мне и смешно и плакать хочется. Но я вижу, что ты вот-вот сорвешься, и потому держусь. Мы быстро расписываемся против галочки, и уже через несколько минут все кончено. Ты держишь свидетельство о браке, как только что купленный билет в театр, вытянув руку над толпой. Мы выходим, обнявшись, среди невест в белом тюле под звуки неутомимого марша. Мы женаты. Ты наконец спокоен. Празднование отменяется — нет времени: мы едем в Одессу. Через несколь-

ко часов мы будем на борту теплохода "Грузия" — это и есть сюрприз. Настоящее свадебное путешествие на настоящем корабле. Без свадебного марша.

Уже оттого, что я спускаюсь по знаменитой лестнице, у меня перехватывает дыхание. Под ногами у нас расстилается одесский порт. Мы вдыхаем особый запах — это смесь мазута, свежей рыбы и краски. Шумы тоже достигают наших ушей, и даже с закрытыми глазами знаешь, что внизу — большой порт. У нас колотятся сердца — мы скоро отправимся в наше первое путешествие, и пусть даже мы не выходим за пределы Черного моря, для тебя это — большой глоток свободы. И потом, ты любишь моряков, и они отвечают тебе тем же. Где бы ты ни был, они с радостью принимают тебя, отводят тебе лучшую каюту, приглашают тебя в гости на берегу, устраивают целый праздник — так всегда бывает, когда мы встречаемся с нашими друзьями — капитанами дальнего плавания Феликсом Дашковым и Сашей Назаренко. Многие думают, что ты сам был моряком — так хорошо ты рассказал об их радостях и бедах. Действительно, нужно было прожить, наверно, пятьдесят жизней, чтобы не знавшие тебя люди клялись, что ты был с ними в море, в одном истребителе, в лагерях или связке альпинистов... И для всех ты — близкий, один из них, "свой", как говорят по-русски.

Толя Гарагуля встречает нас у трапа. Грубоватое лицо, словно вырубленное из камня, обезоруживающая улыбка. Он руководит смешанным экипажем. Мужчины восхищаются им, женщины все немного в него влюблены. Корабль, которым он командует, настоящее чудо. Он был захвачен в качестве трофея и восстановлен после войны. Каюты и салоны — необычайной роскоши. "Грузия" богато украшена коврами, чеканкой и росписью. Несмотря на перипетии бурных лет, это немецкое судно начала века сохранило свои прекрасные деревянные обшивки, вензеля из полированной меди, а главное — свою царскую каюту: настоящую квартиру, целиком обтянутую голубым бархатом. Здесь в зеркалах отражаются зеркала, и от этого каюта кажется еще просторнее. Двойные фарфоровые раковины в ванной украшены старинными медными кранами. Мы с восторгом осматриваем наши владения. Толя чудесно все устроил: каюта уставлена цветами, на столе — фрукты, пироги и бутылка грузинского вина. Мы не знаем с чего начать, и, поглупев от счастья, наперебой восхищаемся каждой мелочью. Конечно, мне приходилось бывать

и во дворцах, но я нисколько не притворяюсь — я и в самом деле ослеплена всем этим великолепием. Ты гладишь бархатную поверхность кровати и выдвигаешь из комода один за другим ящички с маленькими медными ручками. Ты минутно оборачиваешься ко мне посмотреть, как мне все это понравится, — и нам весело, мы хохочем.

Потом мы осматриваем корабль. Нас особенно поражает машинное отделение. Переминаясь с ноги на ногу, как большие робкие медведи, механики протягивают нам для пожатия запястья и вытирают промасленными тряпками потрескавшиеся ладони, ставшие мраморными от разводов машинного масла. Зато сами машины начищены до блеска, мощно работают поршни. Тебе решительно все здесь нравится. Под гул моторов ты импровизируешь текст во славу этого корабля, которому выпала честь носить в своем чреве такой великолепный экипаж, а главное — твою любимую женщину, твою законную жену... Мужчины аплодируют.

Лицом к ветру мы карабкаемся по вертикальной лестнице на мостик. Толя ведет нас в свою личную столовую. Здесь для нас устраивают пиршество, секрет которого знают только моряки: сырая семга, свежайшая икра, которую только чуть посолили прямо у нас на глазах, сочное мясо гигантского краба, прямо тающее во рту... Наевшись, мы растягиваемся на мостике подышать морским воздухом, глядим в небо и улыбаемся ночи. Нас убаюкивает рокот моторов. Твоя рука ищет мою.

В Сухуми капитан угощает нас на причале чебуреками и турецким кофе, сваренным в горячем песке. Потом он ведет нас к одному своему знакомому, который работает в какой-то конторе по снабжению. За счет государства он построил себе громадный дом, возвышающийся над городом. Как только он понял, кто мы, на столе появляются еда и бутылки, сосед приносит дымящиеся шашлыки. Хозяин говорит нам с широкой улыбкой: "Я — грузин". И потом — с гримасой отвращения, показывая на соседа: "Он — армянин. Вы видите, как мы хорошо ладим!" И, сильно хлопнув соседа по узкой спине, добавляет: "Да, мы отлично ладим. Он всегда жарит для меня мясо". Эксплуатируемый сосед растерянно улыбается...

Я без сожаления покидаю дом этого шумного хозяина. Под руку мы вновь спускаемся к порту. Издали корабль выглядит еще красивее. Толя на мгновение останавливается, и его добрые глаза тускнеют. Он обнимает нас за плечи и говорит сдавленным голосом:

— Посмотрите на него хорошенько. Я ничего не сказал вам вчера вечером, но мой прекрасный корабль, моя красавица "Грузия" в своем последнем плавании. Как только мы вернемся в Одессу, корабль пойдет в переплавку. Из его чистой стали сделают миллионы лезвий для бритвы.

Мы очень расстроились из-за Толи, да и из-за старой "Грузии", в которую влюбились, как и он. Мы молча продолжаем путь.

— Ничего, в следующем году у нас будет новая "Грузия". Она будет еще красивее.

И видно, что капитан сам не верит в то, что говорит...

Нам никогда не удалось вновь пережить счастья этого путешествия. Мы побывали на всех морях, нас по-королевски принимали гостеприимные и щедрые капитаны, но никогда больше нам не было так хорошо. Наверно, потому, что это первое плавание было нашим свадебным путешествием...

В старом Тбилиси мы празднуем наше бракосочетание, состоявшееся в Москве всего за полчаса. Здесь нам устраивают настоящую старинную свадьбу. Женщины в черном суетятся в большом зале. Все тончайшие блюда грузинской кухни стоят на столах в серебряных подносах. Здесь и душистые травы, расставленные букетами, и маринованный чеснок, и лобио, и сациви, во дворе жарят шашлык — все благоухает. Мы сидим в торце стола, оба в белом, и держимся за руки. Компания исключительно мужская. Женщины накрывают, подают и становятся поодаль, сложив руки на животе. Их красивые смуглые лица смягчаются улыбкой. Тамада поднимает первый тост:

— Пусть сколотят ваш гроб из досок, сделанных из того дуба, который мы сажаем сегодня, в день вашей свадьбы.

Каждому наливают вина в коровий рог. Стаканы из старинного хрусталя здесь только для воды. Рог вмещает четверть литра вина. Поскольку его нельзя поставить, надо пить до дна. Я подчиняюсь, ты же подносишь рог к губам и движением, которое будет повторяться в течение нескольких часов застолья, передаешь его рослому парню, стоящему позади тебя. Он выпивает вино и кладет рог на поднос, который ему протягивает пожилая женщина, обносящая гостей. Второй тост следует за первым:

— Пусть ваши праправнуки не найдут ни одного билета, даже на черном рынке, чтобы попасть в театр на ваши спектакли!

Приносят роги побольше. Я стараюсь выпить все, но не могу и в свою очередь передаю вино молодому человеку, стоящему за мной. Гости же пьют по традиции до дна, и никто не уходит из-за стола. Угощение роскошно, тосты бесконечны. Ты видишь, как много могут выпить люди и при этом не потерять достоинства. Мы подсчитали потом, что каждый из гостей выпил за вечер литров по десять вина. Наши ангелы-хранители стоят сзади, допивают за нами вино и не едят, вызывая в тебе удивление и восхищение. Когда к концу вечера ты неловким движением задеваешь стол, падает его выдвигающая часть и разбивается дорогая посуда, мы просто не знаем, куда деваться от стыда. В ответ на наши смущенные извинения хозяин дома широким жестом смахивает на пол всю стоявшую перед ним посуду. Потом по-королевски дает распоряжение снова накрыть стол. Из кухни приносят мясо, дичь, пироги. Последние осколки в мгновение ока убираются молчаливыми ловкими женщинами. Тамада говорит:

— Тем лучше, начнем сначала.

Пир продолжается. В зале шумно и весело. Вдруг один из гостей громко спрашивает:

— Забудем ли мы выпить за нашего великого Сталина?

За столом воцаряется нехорошая тишина. Грузинская интеллигенция жестоко пострадала при Сталине, и, если некоторые люди относятся к нему с ностальгическим восхищением, хозяин дома, как и мы сами, считает его самым настоящим преступником.

Я беру тебя за руку и тихо прошу не устраивать скандала. Ты побледнел и белыми от ярости глазами смотришь на того человека. Хозяин торжественно берет рог из рук гостя и медленно его выпивает. И сильный мужской голос вдруг пререзает тишину, и за ним вступает стройный хор. Пением, точным и редкостным многоголосьем эти люди отвечают на упоминание о проклятых годах: голоса сливаются в звучную и страстную музыку, утверждая презрение к тирану, гармония мелодии отражает гармонию мыслей. Благодаря врожденному такту этих людей случайному гостю не удалось испортить нам праздник, и мы все еще сидим за столом, когда во дворе начинает петь петух.

Самый удивительный подарок мы получаем, открыв дверь нашей комнаты. Пол устлан разноцветными фруктами. Записка в два слова приколотая к роскошной старинной шали, брошенной на постель: "Сергей Параджанов". Сережа, кото-

рого мы оба нежно любим, придумал для нас эту сюрреалистическую постановку. Стараясь не слишком давить фруктовый ковер, мы падаем обессиленные, и я тут же засыпаю, завернувшись в шелковистую ткань шали.

Однажды утром мы гуляем по Тбилиси, и один из наших друзей показывает нам дом с высокими окнами: "Здесь живет художник Ладо Гудиашвили — друг Модильяни, Матисса, Делоне. В двадцатые годы он жил в Париже". Я говорю тебе, что мой отец, прозванный Владимиром Щедрым, наверняка был знаком с этим человеком. Принадлежа к тому же артистическому кругу, работая у Бурделя, он не мог его не знать. Ты предлагаешь позвонить в дверь, что мы и делаем. Нам открывает очень пожилая дама и спрашивает, что мы хотели. Я объясняю, она просит нас подождать, через несколько минут возвращается и говорит, чтобы мы приходили вечером после семи: "Маэстро вас примет".

В назначенное время пожилая дама вводит нас в зал с высоким потолком и картинами на стенах. В центре — длинный стол со всякой едой, вином и цветами, приготовленный, кажется, для большого банкета. В глубине зала открывается дверь, и появляется человек с очень красивым лицом, седыми волосами, блестящими живыми глазами. Он идет к нам навстречу, раскрыв объятия:

— Я не мог умереть, так и не обняв дочь Владимира. Благодарение богу, вы пришли.

Он прижимает меня к груди с юношеской силой. Потом приглашает нас сесть рядом с ним и велит принести еще влажные фотографии, которые он только что отпечатал специально для меня. Дрожащими пальцами он показывает мне на первом плане двух молодых людей: они обнялись за плечи и улыбаются в объектив. Я узнаю отца и Ладо в окружении самых знаменитых художников.

Ладо Гудиашвили начинает рассказывать. Ты, как зачарованный, слушаешь его: костюмированные балы, кутежи по мастерским, нищие друзья, Модильяни, Сутин, множество иностранцев, которые все живут недалеко от бульвара Монпарнас и каждый вечер допоздна засиживаются в знаменитом ресторане "Куполь"...

По грузинскому обычаю застолье продолжается до поздней ночи, старая служанка стоит позади нас и наполняет стаканы и тарелки. В большом зале теперь темно, приносят керосиновые лампы, и их свет отражается в глазах. Ты гово-

ришь о своей работе над Гамлетом, о переводе Пастернака. Ладо берет нас за руки и ведет в маленький салон. На пианино — большая фотография поэта в массивной серебряной раме, на столе — письма, написанные его рукой, его книги, стихи и, в буфете за стеклом, — стаканчик с коньяком, накрытый блюдцем.

— Это последний стакан, который выпил Пастернак. Мы храним его и наполняем в память о нем со дня его смерти.

Художник провожает нас, снова долго обнимает меня на прощанье. Мне грустно. Я знаю, что никогда больше не увижу его. Я ухожу, прижимая к груди фотографию, где мой отец и он, молодые и красивые, улыбаются жизни.

Эспераль. Это слово я произношу впервые однажды утром, когда, сидя у тебя в изголовье, стараюсь объяснить тебе, что во Франции бросить работу лишь по той причине, что пьет муж, невозможно. Я снова улетела со съемок и буду платить неустойку, которая превысит мой гонорар за этот фильм, и не могу больше позволить себе этого. Кажется, ты не понимаешь меня. В Советском Союзе терпимость к пьяницам всеобщая. Поскольку каждый может в один прекрасный день свалиться на улице в бессознательном состоянии в замерзшую грязь, пьяному все помогают. Его прислоняют к стене в теплом подъезде, не замечают его отсутствия в бюро или на заводе, ему дают мелочь на пиво — "поправить здоровье". Иногда его приносят домой, как мешок. Это — своеобразное братство по пьянке. Как заставить тебя понять разницу: удовольствие немного выпить за хорошим ужином с друзьями, небольшие ежедневные излишества светского алкоголика — все это далеко от пропасти, в которую ты падаешь, от гибели, которой ты сам ищешь, от той маленькой смерти, после которой ты совершенно разбит и слаб. Шесть бутылок водки в день вычеркивают тебя из жизни. Здесь, в Москве, знают, как это бывает, в Париже — нет.

Однажды мне случается сниматься с одним иностранным актером. Он, видя, как я взбудоражена, и поняв с полуслова мою тревогу, рассказывает, что сам сталкивался с этой ужасной проблемой. Он больше не пьет вот уже много лет, после того как ему вшили специальную крошечную капсулку...

Естественно, ты должен решить все сам. Это что-то вроде преграды. Химическая смирительная рубашка, которая не дает взять бутылку. Страшный договор со смертью. Если все-таки человек выпивает, его убивает шок. У меня в су-

мочке — маленькая стерильная пробирка с капсулками. Каждая содержит необходимую дозу лекарства. Я терпеливо объясняю все это тебе. В твоём отеком лице мне знакомы только глаза. Ты не веришь. Ничто, по-твоему, не в состоянии остановить разрушения, начавшегося в тебе ещё в юности. Со всей силой моей любви к тебе я пытаюсь возражать: все возможно, стоит только захотеть, и, чем умирать, лучше уж попробовать заключить это тяжелое пари. Ты однажды уже возвращался с того света, мое отчаяние испугало врачей "скорой помощи", тебя вернули к жизни. Ты выздоровел. Прошло несколько месяцев — и вот ты здесь, в критическом положении, но ещё живой. Я умоляю тебя попробовать — и ты соглашаешься.

Эта имплантация, проведенная на кухонном столе одним из приятелей-хирургов, которому я показываю, как надо делать, — первая из длинной серии. Эспераль. В этом слове есть иллюзия надежды. Запрет не в состоянии решить элементарных главных проблем. Это не более чем подпорка. Но благодаря ей тебе на шесть с лишним лет удастся отодвинуть роковую дату, предначертанную судьбой. Ты отвоевываешь эти годы у нависшего над тобой проклятья.

Иногда ты не выдержишь и, не раздумывая, выковыриваешь капсулку ножом. Потом просишь, чтобы ее зашили куда-нибудь в менее доступное место, например в ягодицу, но уже через несколько дней ты уговариваешь знакомого хирурга снова вынуть ее. Тебе ничто не мешает просто отказаться от этого принуждения, но после очередного срыва ты каждый раз возвращаешься к принятому решению.

Периоды затишья длятся от полутора лет — в первый раз — до нескольких недель после последнего вшивания. Ты больше в это не веришь, хуже того, ты начал сам себя обманывать. Через несколько дней после имплантации ты пробуешь немного пить, реакция слабая, ты увеличиваешь дозу, и, видя твоё состояние, врач решает удалить препарат. Дальше — свободное падение вплоть до срочной госпитализации. Реанимация, домашняя процедура отнятия от бутылки, тревога и отчаяние... Дьявольский круг завертелся, все прибавляя обороты.

Десять лет у нас был ангел-хранитель — Люся. Нежный голосок, обладательницу которого я увидела лишь много лет спустя. Все началось с нашей первой ссоры. Я застегнула чемоданы и уехала из Москвы после долгого и тяжелого

периода твоего этилового безумия. В то время терпения у меня было не так много, и, смертельно устав, не зная еще никакого средства, чтобы заставить тебя прекратить весь этот кошмар, я сбежала, оставив записку: "Не ищи меня". Это, конечно, было наивно. Я к тому времени недавно стала твоей законной женой, и свидетельство о браке, по твоему мнению, обязывало меня безропотно терпеть все твои выходы.

Я ушла в работу — это единственное известное мне отвлекающее средство. Уже несколько недель я в Риме. Однажды утром меня зовут к телефону прямо в парикмахерской. Звонят из-за границы. Я пугаюсь, думаю о детях — очевидно, случилось что-нибудь серьезное! "Вызывает Москва. Вас спрашивает Высоцкий". Я успеваю только сказать: "Алло!" — и слышу твой голос:

— Наконец, наконец я нашел тебя, мы нашли тебя, спасибо, мои дорогие телефонисточки, благодаря вам я нашел мою жену! Теперь все хорошо, я объясню тебе, я все объясню тебе! Необходимо, чтобы ты вернулась! Ты одна можешь мне помочь! Правда, дорогие мои, я правильно говорю? Скажите ей, что она нужна мне, скажите ей это!

И я слышу чьи-то смущенные смешки, накладывающиеся на твой голос.

— Ну, расскажите ей, что вы сделали, чтобы ее найти!

И, не дожидаясь ответа телефонистки, ты сам начинаешь рассказывать:

— Мы обзвонили все гостиницы Рима. Наконец нашли ту, где ты остановилась, но в номере тебя не было. Сказали — в парикмахерской. Оставалось узнать, в какой. За этим дело не стало. Мы позвонили в несколько парикмахерских — и вот нашли тебя!

По твоему возбужденному тону я чувствую, что ты не совсем в порядке. И прямо говорю тебе о моих подозрениях. Но прежде чем ты успеваешь возразить, вмешивается все тот же звонкий голосок: "Не беспокойтесь, он уже несколько дней разыскивает вас, он больше не пьет, просто он очень очень счастлив!"

Мы многим обязаны ей, потому что, живя в разлуке несколько месяцев в году, мы должны были бы, если бы не она, ждать писем, которые так долго идут, что получается диалог глухих. Или нам пришлось бы часами ждать маловероятного телефонного разговора. Этой женщине удавалось соединить нас не только проводом, но часто прямым вмеша-

тельством. Сколько раз, слыша, как я рычу от бешенства, она говорила мне: "Успокойтесь, подумайте, это не так серьезно. Я вас вызову через час". Сколько раз, выполняя свою функцию "контролера" международных переговоров, она прерывала твой нечленораздельный монолог, сказав только: "Я разъединяю. Мы позвоним завтра, когда будем лучше себя чувствовать..." Сколько раз, когда я в отчаянии искала тебя в другом конце страны, мне наконец удавалось связаться с нашей доброй знакомой! Она успокаивала меня, и через несколько минут я знала, где ты находишься, как тебя найти и привезти домой. Но главное – мы обязаны ей тем, что в течение всей нашей с тобой жизни мы имели возможность каждый день разговаривать сколько хотим, где бы я ни была. Я знала, что могу связаться с тобой из глубины Полинезии, из Нью-Йорка, из Афин, откуда угодно. Она была той тонкой нитью, которая связывала нас с тобой и в горе, и в радости, до самого последнего разговора. Ее лицо, опухшее от слез, я увидела только потом, когда ее участие уже не могло помочь нам отыскать друг друга.

Песня "07" – эта песня о Люсе.

*Для меня эта ночь вне закона.
Я пишу – по ночам больше тем.
Я хватаюсь за диск телефона,
Набираю вечное 07.*

*Девушка, здравствуйте!
Как вас звать? Тома.
Семьдесят вторая! Жду! Дыханье затая!
Быть не может, повторите, я уверен – дома!
Вот! Уже ответили! Ну, здравствуй, – это я.*

*Эта ночь для меня вне закона.
Я не сплю, я прошу – поскорей!
Почему мне в кредит, по талону
Предлагают любимых людей?*

*Девушка! Слушайте!
Семьдесят вторая!
Не могу держаться, нетерпенья не тая.
К дьяволу все линии, я завтра улетаю!
Вот! Уже ответили. Ну, здравствуй, – это я.*

*Телефон для меня – как икона,
Телефонная книга – триптих.
Стала телефонистка мадонной,
Расстоянье на миг сократив.*

*Девушка! Милая!
Я прошу, продлите!
Вы теперь как ангел – не сходите ж с алтаря!
Самое главное – впереди, поймите.
Вот, уже ответили. Ну, здравствуй, – это я.*

*Что, опять поврежденья на трассе?
Что, реле там с ячейкой шалят?
Ничего, буду ждать, я согласен
Начинать каждый вечер с нуля.*

*07, здравствуйте!
Снова я. Что вам?
Нет! Уже не нужно. Нужен город Магадан.
Я даю вам слово, что звонить не буду снова.
Просто друг один – узнать, как он, бедняга, там.*

*Эта ночь для меня вне закона,
Ночи все у меня не для сна.
А усну – мне приснится мадонна,
На кого-то похожа она.*

*Девушка, милая!
Снова я, Тома!
Не могу дождаться, и часы мои стоят.
Да, меня, конечно, – я, да, я, конечно, дома!
– Вызываю. Отвечайте. – Здравствуй! – это я.*

Октябрьское утро семьдесят первого года. Я жду с сестрами в холле парижской клиники. Маме, которой я дорожу больше всего на свете, удалили раковую опухоль. Она не хотела нас беспокоить, и за несколько лет болезнь прочно обосновалась в ней. Мы знаем, что у нашей сестры Одиль тот же диагноз. Мы подавлены. Хирурги пока ничего не говорят. Я жду до последнего момента. Я вижу, как после операции маму провозят на каталке.

В такси я стараюсь успокоить свое перегруженное сердце. Я причесываюсь, пудрюсь – я еду на встречу активистов об-

щества дружбы "Франция — СССР" с Леонидом Брежневым. Актерская дисциплина снова выручает меня. Я приезжаю в посольство СССР как ни в чем не бывало, готовая к рандеву, важность которого я предчувствую. Мы ждем в салоне, все немного скованно, потом нас впускают в зал, где стулья стоят напротив письменного стола. Входит Брежнев, нам делают знак садиться. Нас пятнадцать человек, мужчин и женщин всех политических взглядов — голлисты, коммунисты, профсоюзные деятели, дипломаты, военные, писатели — все люди доброй воли, которым дорога идея взаимопонимания между нашими странами.

Мы слушаем традиционную речь. Брежнев держится свободно, шутит, роется в портсигаре, но ничего оттуда не достает, сообщает нам, что ему нельзя больше курить, и долго рассказывает об истории дружбы между нашими народами. Ролан Леруа мне шепчет: "Смотри, как он поворачивается к тебе, как только речь заходит о причинах этой дружбы..." Действительно, я замечаю понимающие взгляды Брежнева. Я знаю, что ему известно все о нашей с тобой женитьбе. Когда немного позже мы пьем шампанское, он подходит ко мне и объясняет, что водка — это другое дело, что ее нужно пить сначала пятьдесят граммов, потом сто и потом, если выдержишь, — сто пятьдесят, тогда хорошо себя чувствуешь. Я отвечаю, что мне это кажется много. "Тогда нужно пить чай", — заключает он, и я получаю в память об этой встрече электрический самовар, к которому все-таки приложены две бутылки старки.

Прежде чем уйти, мы фотографируемся: группа французов вокруг советского главы. Этот снимок сделал гораздо больше, чем все наши хлопоты, знакомства и мои компромиссы, вместе взятые. Чтобы понять настоящую цену этой фотографии, мне было достаточно увидеть по возвращении в Москву неумемную гордость, внезапно охватившую твоих родителей, которые демонстрировали вырезку из газеты кому только возможно.

Вечером я в отчаянии возвращаюсь домой. Мама — моя подруга, мой единственный стержень в этой жизни — при смерти. Я понимаю, как неуместна вся эта комедия, сыгранная во имя некоторого туманного будущего, по сравнению с неизбежностью предстоящей утраты.

Кончина моей матери — отражение в зеркале моей собственной смерти — сводит к очень немногому ежедневный фарс нашего существования. Но надо жить дальше. Я знаю,

что нужна тебе и моим сыновьям. Отныне я для всех вас — последнее звено цепи. Моя мама, которую ты видел несколько минут в гостинице "Советская" три года назад, была олицетворением безопасности, одобрения, теплоты, так необходимых тебе. Расцвет ее юности пришелся на революцию — в семнадцатом году ей было восемнадцать лет. Воспитанная в Петербурге, в Смольном институте благородных девиц, она была среди тех, кто, воодушевившись новыми идеями, вывесил в день восстания красные лоскуты на окнах. Потом она видела, как грабили евреев-суконщиков, и на всю жизнь запомнила, как отливающие разными цветами огромные куски ткани валялись, размотавшись, по всей улице. Потом убили ее любимую классную даму — и она, как и многие другие девушки, в страхе бежала за границу. Так она, пережив множество трагических эпизодов, оказалась в Париже.

Она любила тебя, она впервые приняла в твоём лице мужчину в моей жизни. Надо, правда, сказать, что другие посягали на ее территорию, на наш дом. Поскольку ты не мог уехать из своей страны, ты был не обременителен, но даже не в этом дело. Твои стихи, твой голос, твоя музыка — вот что ее подкупило. Она иногда спотыкалась на современных выражениях и жаргонных словечках, но понимала все, даже то, чего просто не могли понять женщины ее поколения. Она каждый день читала мне твои письма, потому что я еще не умела тогда бегло читать по-русски.

Когда я сообщаю тебе по телефону, что мы должны решиться отключить аппарат, который искусственно поддерживает ее жизнь, ты отвечаешь то, чего я жду: "Если жизнь больше невозможна, зачем поддерживать ее видимость?" Мы согласны — одна из сестер и я. После долгих споров две другие мои сестры тоже соглашаются, и мы прощаемся с мамой.

Рыдая у телефона, ты все-таки стараешься поддержать меня. В тот февраль семьдесят второго года были рассмотрены все возможные решения. Даже чтобы мне остаться в Москве с детьми. Но очень быстро мы наткнулись на непреодолимые трудности: отсутствие денег и моя работа, которую я хочу и должна продолжать. К тому же моих сестер и друзей приводит в ужас одна только мысль о возможности моего переезда в Москву. А главное — то, что мои дети, с удовольствием проводящие здесь летние каникулы, не хотели бы все-таки окончательно поселиться вдали от Франции.

И только после переезда из моего большого дома, став-

шего мне в тягость, поместив детей в пансион, закончив фильм, съемки которого продолжались все эти недели, я лечу в Москву.

Смерть моей матери резко изменила ход жизни всей нашей большой семьи.

Это может показаться странным, но именно в Париже я сделала решающую заявку на получение виз для поездок в Москву. Господин Абрахимов, посол СССР в Париже, принимает меня. Я говорю ему о наших трудностях прямо. Туристические поездки стоят дорого, я не могу быть приглашенной несколько раз в году, и моя работа не позволяет мне строить долгосрочных проектов. К тому же я считаю бессмысленным платить за гостиницу и питание, потому что на совершенно законном основании проживаю в Москве у мужа. Движением руки посол прерывает мою речь.

— Вас очень любят в СССР. Мы знаем, что вы — наш друг, к тому же мы делаем все возможное, чтобы помочь объединению семей. Я лично — давний почитатель вашего таланта, вашей смелой деятельности в пользу мира и дружбы между нашими странами. Скажите, а что вы думаете о фильме "Признание"?

Меня удивляет такой странный переход, я не сразу нахожу, что ответить, но, наконец, осторожно говорю, что книга, по которой сделан фильм, мне кажется необходимой и верной и что нужно разоблачать преступления сталинизма.

Молчание. Видно, что посол ждал другого. И надо признаться, что вот тут-то я оставляю при себе все свои глубокие убеждения и выбираю тебя. В конце концов, моя борьба за права человека — это борьба за твои права, и я говорю именно то, чего он ждет от меня:

— Сам же фильм может возбудить экстремистские настроения уже одним тем, что кино предлагает образы, картины и в противоположность книге не позволяет подумать. За вас думают другие. Да, фильм может дать нежелательный эффект.

Посол улыбается:

— Я сделаю все необходимое, чтобы у вас не было трудностей с получением виз.

Я густо краснею, особенно оттого, что мое отречение — не публично. От меня на самом деле требовалось только одно — признать мое "расхождение" с Монтаном, Синьоре и Коста-Гаврасом, а это — мои друзья. Только чтобы доставить удо-

вольствие господину Абрасимову, который страшно на них зол за их взгляды. Я до сих пор не знаю, что возобладало: восхищение актрисой, уважение к правоверной активистке или, может быть, свойское обращение со мной Брежнева в прошлом году в Париже? Факт в том, что начиная с этого дня я могла пользоваться и злоупотреблять данной мне привилегией. Мне было выдано больше семидесяти виз. Часто, когда в этом возникала необходимость, — в день подачи заявления.

Что касается твоей выездной визы — это было далеко не так просто. Мы ждали шесть лет, прежде чем набрались смелости подать роковое прошение. Мне кажется, я представила достаточно доказательств лояльности: многие мои советские друзья приезжали в течение этих лет в Мезон-Лаффит по моему приглашению, и никто не воспользовался этим, чтобы остаться на Западе или устроить скандал в прессе. Все вернулись вовремя, довольные путешествием, которое почти для всех было первым выездом за границу.

Наша совместная жизнь привела тебя в равновесие. Ты стал спокойнее, и твои загулы не выходят за общепринятые в России рамки. Ты подолгу совершенно не пьешь, много работаешь, и твое официальное реноме актера театра обогащается новой гранью: ты снимаешься в кино. Публика обожает твои персонажи — само собой разумеется, отрицательные. Ты не имеешь права быть положительным героем. Ты играешь злодеев, но так здорово!.. А мне хочется показать тебе Париж. Я хочу, чтобы ты знал, как я живу, моих друзей, я хочу, чтобы у тебя было право выезжать, чтобы ты увидел мир, чтобы почувствовал себя свободным.

Мы говорили об этом долгие ночи напролет. Мы воображали все, что ты мог бы сделать. Ты никогда не думал остаться жить во Франции. Для тебя жизненно необходимо сохранить корни, язык, принадлежность к своей стране, которую ты страстно любишь. Ты строишь безумные планы. Ты мечтаешь о свободных от цензуры концертах и пластинках, о путешествиях на край земли. Как это часто бывает с тобой, невероятные мечты становятся откровениями: все это сбудется, но позже.

А пока что тебе, человеку, женатому на француженке, нужно получить обычную визу во Францию, чтобы провести там месяц отпуска. Так и написано в заявлении, которое мы наконец относим в ОВИР.

Следующая за этим неделя становится для нас непрерыв-

ной пыткой. Мы разыграли самую рискованную карту. Если мы проиграем, это будет означать для тебя пожизненную невозможность воплотить мечты. Игра осторожна, мы знаем, что решение будет приниматься долго и на очень высоком уровне. Дни идут, мы подсчитываем шансы. Иногда ты приходишь в отчаяние, уверенный, что ничего не выйдет. Иногда ты принимаешь долгое молчание за добрый знак — если "они" еще не решили, значит, есть люди, которые на твоей стороне, и они победят. Я держу про себя последнее средство, но ни слова не говорю, несмотря на то что меня саму охватывают серьезные сомнения. Время твоего отпуска приближается, "они" могут протянуть дело до того момента, когда у тебя снова начнется работа в театре. Этот трюк часто используется администрацией, какой бы, впрочем, она ни была. Ты буквально кипишь, ты не можешь писать, ты не спишь, и, если бы не эспераль, я опасалась бы запоя. Однажды часов в пять утра нам звонит очередной неизвестный поклонник, работающий в ОВИРе, и мы узнаем, что отказ неминуем. С помощью Люси мне удастся немедленно позвонить Ролану Леруа. Это — человек блестящей культуры, он любит твой театр, он даже несколько раз пытался устроить гастроли Таганки во Франции, впрочем, безрезультатно. Я знаю, что он очень ценит твои песни. К тому же он — мой давний приятель и отлично знает все наши проблемы. Я в двух словах объясняю ситуацию, он обещает попытаться что-нибудь сделать.

На следующее утро специальный курьер приносит тебе заграничный паспорт взамен того, который каждый человек в СССР должен иметь при себе. По всем правилам оформленная виза, на которой еще не высохли чернила, и заграничный паспорт у тебя в руках. Не веря своим глазам, ты перелистываешь страницы, гладишь красный картон обложки, читаешь мне вслух все, что там написано. Мы смеемся и плачем от радости.

Лишь гораздо позже мы осознали невероятную неправдоподобность ситуации. Во-первых, посыльный был офицером, а во-вторых, он принес паспорт "в зубах", как ты выразился, а ведь все остальные часами стоят в очереди, чтобы получить свои бумаги! Приказ должен был исходить сверху, с самого высокого верха. Ты тут же приводишь мне пример с Пушкиным, персональным цензором которого был царь. Ему так и не удалось получить испрошенного разрешения поехать за границу. Позже мы узнали, что Жорж Марше хлопотал за нас

перед самим Брежневым. Потребовалось доброжелательное вмешательство высшего сановника СССР для того, чтобы ты получил это право, в конечном счете законное.

Тебе повезло больше, чем Пушкину.

Единственный раз в жизни ты чуть не попал в тюрьму. Это было в Одессе: когда ты уже сидел в самолете, вылетающем в Москву, два человека из КГБ попросили тебя следовать за ними. Было совершено изнасилование. Жертву — маленькую девочку — видели с человеком, похожим на тебя. Группа крови, взятой из-под ногтей несчастного ребенка, совпала с твоей. Тебя охватывает ужас, и напрасно ты объясняешь, что в тот день ты был на выездных съемках в компании сорока человек, примерно в ста километрах от места преступления, — ничего не помогает. Тебе приказано оставаться в гостинице и ожидать очной ставки.

Ты знаешь, до какой степени тобой интересуется местное КГБ. Ты в начале карьеры, и твои едкие песни не нравятся здешним властям. В каждом городе — свой царек. Одесскому же не по вкусу твой юмор, он хочет рассчитаться с тобой. Стечение обстоятельств, случайность или обыкновенная подтасовка фактов — но утверждают, что преступник похож на тебя, как родной брат. Во второй половине дня к тебе приходит человек лет тридцати, которого можно безошибочно определить по внешности. Он — из органов, но при этом — твой поклонник. У тебя уже тогда они были повсюду — люди, которые ценили твои песни. Он объясняет тебе, что главное — избежать очной ставки. Преступника видели дети, и повлиять на их показания очень легко. А ведь стоит только завести дело — потом не отвертись. Твой поклонник советует тебе для начала исчезнуть, а потом — представить доказательства, что в день совершения преступления ты был на съемках. Как только позвонили режиссеру, он немедленно дает распоряжение отпечатать фотографии сцен, которые снимались в тот день. Номера соответствуют пометкам, сделанным ассистентом и звукооператором. Речь действительно идет об этом самом дне.

Благодаря смелости всех этих людей — а нужно иметь смелость, чтобы спорить с КГБ, — и в особенности благодаря совету твоего поклонника ты выпутываешься, испытав один из самых больших ужасов в своей жизни.

Ты всегда говоришь, что на Западе люди ослеплены историями, которые публикуют передовицы газет, то есть делами

Сахарова, отказников, известных диссидентов, но никто не знает о ежедневном изматывающем давлении на людей. Ты это называешь "борьбой против ватной стены". И самое страшное здесь — это невозможность увидеть чиновника, от которого часто зависит карьера, личная жизнь, свобода. Я вспоминаю тревожные часы, проведенные мной в Театре на Таганке, когда Юрий Любимов и вся его труппа показывают новый спектакль "представителям культуры". Эти люди могут одним словом перечеркнуть несколько месяцев работы, и они не отказывают себе в этом удовольствии. Каждый раз судьба нового спектакля висела на волоске. Твои концерты отменяются иногда прямо перед выходом на сцену, чаще всего под предлогом твоей болезни, что приводит тебя в бешенство: тебе не только запрещают петь, но сваливают на тебя же вину за сорванный концерт. Твои песни для фильмов, прошедшие цензуру, все же "не пускают" как раз перед премьерой, и картина становится вечной. Тексты, неустанно посылаемые в Главлит, неизменно отсылаются обратно с преувеличенно вежливыми сожалениями. На нескольких маленьких пластинках, появившихся за двадцать лет работы, записаны самые безобидные песни, отобранные из более чем 700 текстов. Полное молчание по радио, телевидению и в газетах, а между тем в стране нет, пожалуй, ни одного дома, где почти каждый день не слушали бы Высоцкого.

Эти беспрерывные притеснения изматывают тебя душевно, поскольку твоя всенародная популярность, как бы она ни была велика, не компенсирует в твоих глазах отсутствие официального признания. Я часто удивляюсь, почему тебя это так беспокоит, но ты с горечью отвечаешь: "Они делают все, чтобы я не существовал как личность. Просто нет такого — и все". До самого конца ты будешь безрезультатно пытаться заставить признать тебя как поэта.

Мы в Баку, в порту. Пообещав красивый прыжок в воду моим сыновьям, ты замираешь на несколько секунд, вытянув руки и глядя прямо перед собой, и в коротком прыжке пытаешься сделать двойное сальто вперед. Ты чуть не задеваешь лбом парапет набережной. Мы страшно испуганы. Ты тоже испугался и в течение нескольких недель будешь дважды в день делать гимнастику — долго, терпеливо растягивая мышцы, укрепляя суставы — до полного изнеможения.

Тебе тридцать девять лет. Твое тело, от которого ты столько требовал, уже не слушается тебя, как раньше. Ребенком ты занимался акробатикой, молодым человеком продолжал спортивные занятия в школе, потом — школа-студия МХАТ, где занимаются фехтованием, танцем и вообще физкультурой. Ты очень способный. В спектаклях ты справляешься с невероятными задачами. В "Жизни Галилея" ты читаешь длинный монолог, стоя на голове. В "Десяти днях, которые потрясли мир" тебе удастся говорить, учащая при этом акробатические прыжки. В "Пугачеве", наконец, ты выкрикиваешь устрашающий монолог Хлопуши, пытаешься вырваться из цепей, которые каждый раз оставляют у тебя на груди алые полосы.

Летом мы ездим купаться на подмосковный пляж, предназначенный для дипломатов. И на газоне, где мы устраиваем маленький однодневный лагерь, ты продолжаешь свои упражнения. Немногие советские люди, которым открыт вход на этот пляж, — переводчик Брежнева, дети министров, кинорежиссеры, поэты, модные журналисты — аплодируют, когда ты делаешь "крокодила на одной лапе" — сложную фигуру, при которой атлет удерживается параллельно земле, опираясь на согнутую в локте руку.

Однажды вечером мой сын Владимир, которому шесть лет, переплывает на другой берег реки и не может вернуться. Миша Барышников плывет за ним, я пользуюсь удобным случаем, чтобы спросить, не считает ли он, что у маленького Володи способности к танцам. Поглядев на него, Миша ответил утвердительно, но вечером, когда я зашла поцеловать сына перед сном, он раздраженно говорит мне, что никогда не займется этим бабьим ремеслом. "Жаль, он действительно очень способный, — говоришь ты мне, когда я передаю тебе этот разговор. — Но ведь я тоже когда-то отказался от спорта и предпочел театр".

Каждый день я вижу, как ты делаешь "станок", глядя на себя в большое зеркало в ванной. Ты очень гордишься двумя выступающими мышцами, которые идут по всему животу сверху вниз. Ты объясняешь, что этого очень трудно добиться. Прямые брюшные мышцы заканчивают серию мелких "плиток шоколада", как ты их называешь, которые так красивы в греческих Аполлонах. Ты небольшого роста — метр семьдесят, но абсолютно пропорционален. Худые длинные ноги, очень узкий таз, слегка покатые плечи, удлиняющие фигуру, которая без этого была бы коренастой, потому что

торс, как это часто бывает у русских, — очень мощный, мышцы короткие и круглые.

Впрочем, тебе это дает возможность знаменитого боксерского удара, которым ты пользуешься с таким удовольствием. Сколько раз я видела, как в драке ты укладываешь людей в два раза сильнее тебя! Самый красивый из этих ударов ты нанес одному очень крупному мужчине немного "под шафе", как говорят русские, который в тот момент, когда я надевала пальто, чтобы выйти из грузинского ресторана "Арагви", взял меня за плечо и развернул к себе со словами: "Ну-ка, покажись, Марина!.." Он не успел закончить фразу, как длинным свингом слева ты заставил его пролететь в горизонтальном положении через вход из белого мрамора и приземлиться в кустах. Два вышибалы, оба со здоровыми бычьими головами, остолбенели на какое-то время, глядя то на тебя, то на того типа. Через несколько секунд, в течение которых мы гадаем, что будет дальше, — а обычно в этих случаях сразу же вызывают милицию — они раздражаются хохотом и, с силой хлопнув тебя по спине, провожают нас до машины, поздравляя как знатоки.

Я тоже немного знаток, потому что мой отец был прекрасным боксером-любителем, и я тысячу раз видела, как он улаживал ссоры кулаками, о которых говорил: "Правый — больница, левый — насмерть". Единственный раз я видела, как ты промахнулся. Это тоже произошло в ресторане, когда один сильно пьяный человек хотел во что бы то ни стало заставить тебя выпить стакан водки. Наконец, исчерпав все аргументы, ты попробовал апперкот, но ты сидел, и удар получился не сильный, пьяный качнулся назад, ты лишь слегка задел его по подбородку и вывихнул себе большой палец. Несмотря на то что ты даже застонал от боли, я не смогла удержаться от смеха. Рассердившись, а главное — сильно обидевшись, ты дулся до конца ужина.

Тело свое ты разогреваешь перед каждым спектаклем, делая специальную гимнастику актера. Вся труппа Таганки в обязательном порядке ею занимается, потому что спектакли Любимова требуют от артиста, кроме таланта, очень высоких спортивных качеств. Эта серия упражнений для приведения себя в форму, постановки голоса и дыхания и для внутренней концентрации была составлена Станиславским, а потом улучшена элементами йоги и других восточных дисциплин. Тебе такая гимнастика просто необходима. В "Гамлете" ты теряешь за один спектакль два-три килограмма.

В "Жизни Галилея" — еще больше, потому что четыре часа ты не покидаешь сцены. Именно благодаря этим упражнениям твой знаменитый голос, хриплый, когда ты поешь, становится по-настоящему ясным и сильным на сцене. Я не помню, чтобы у тебя хоть раз совершенно пропал голос, а ведь это — постоянный страх артистов. Даже после самого тяжелого спектакля в твоём распоряжении всегда остается несколько нот для забавного "пурлюрю", которое поется сверху вниз, чтобы проверить диапазон голоса. Меня приводит в отчаяние то, что тело, над которым ты столько трудишься, голос, за которым ты так следишь, вдруг до неузнаваемости меняются, разрушаются, портятся. После двух дней пьянки твое тело начинает походить на тряпичную куклу. Голоса почти нет — одно хрипенье. Одежда превращается в лохмотья. Твое ужасное "второе я" берет верх.

Мы едим в кухне. Я накрываю на стол, но по неопределенному выражению глаз и равнодушной жадности, с какой ты глотаешь все, что есть на тарелке, по твоим расплывчатым ответам на мои вопросы я понимаю, что мысли твои далеко. Строфы крутятся у тебя в голове. Действительно, как раз посреди ужина ты бросаешься к рабочему столу. Мне остается лишь убрать тарелки — ты больше не будешь есть. Я завариваю очень крепкий чай, тихонько ставлю перед тобой чашку и закрываю дверь. Ты уже исписал целый листок своим тонким старательным почерком.

Несколько часов ты остаешься сидеть, уставившись в белую стену. Ты не терпишь ни рисунка, ни картины, ни даже тени на стене перед собой. В каждой из наших квартир рабочий стол ставится к стене, и ты сидишь спиной к окну, предпочтительно — в маленьком углу, отгороженном с помощью шкафа, поставленного поперек, или этажерки, которая служит ширмой. И всегда — гладкое, белое и пустое пространство перед глазами.

Из двадцати четырех часов слишком коротких для тебя суток три-четыре часа ты проводишь за рабочим столом. Особенно ночью. Когда в нашем распоряжении только одна комната, я пристраиваюсь сбоку на кровати. Позже, в нашей большой квартире, я жду на диване твоего кабинета, чтобы ты прочел мне написанные только что стихи, и иногда засыпаю. И вот в тишине ночи ты ласково гладишь меня по щеке, чтобы разбудить. У тебя покраснели глаза и от выкуренных сигарет немного сел голос. Ты читаешь мне стихи — и это

одна из самых полных минут нашей жизни, сопричастность, глубокое единение. Это твой высший дар мне. Когда я спрашиваю, откуда это, что вызывает в тебе настоящую потребность написать на бумаге слова в точно определенном порядке, иногда без единого исправления, — ты не можешь ответить. Видно, тебе и самому это не особенно понятно: "Так выходит — вот и все". И добавляешь: "Иногда это трудно, знаешь..."

Часами ты куришь, раздраженно бросаешь скомканые шарики бумаги в корзину, литрами пьешь обжигающий чай, пощипываешь струны гитары в поисках новых аккордов, а потом сидишь неподвижно, будто зачарованный белым сиянием лампы. Вдруг раздаются самые ужасные ругательства и смех — готово, ты нашел! Иногда стоит найти лишь одну строфу — и все складывается и связывается воедино, и на рассвете, когда комната окрашивается цветом зари и я просыпаюсь, дрожа оттого, что не выпалась, ты читаешь мне, торжествуя, результаты ночной работы. Иногда мелодия влечет за собой слово. Тогда мы не спим, потому что ты непрерывно наигрываешь один и тот же мотив, упорно повторяя слова до тех пор, пока они не подладутся друг к другу и не станут песней. Как чувствительная пленка, ты записываешь эмоции, накапливаешь высказывания. Ты питаешь свое вдохновение пережитыми событиями, ничего не оставляя в стороне. Любая тема вызывает в один прекрасный день стихотворение: война, спорт, лагеря, болезнь, любовь, смерть... Ты считаешься мастером в подражании блатным песням. Воры, шпана, бичи уверены, что ты сам долго сидел. Некоторые из твоих песен, написанные в пятидесятые-шестидесятые годы, составляют часть лагерного фольклора, и старики говорят, что помнят эти песни, что они написаны задолго до революции. Тебя это смешит, но в то же время наполняет гордостью. Моряки и летчики знают наизусть многие твои песни — страшную "Спасите наши души!" или потрясающий монолог истребителя в воздушном бою. Ты получаешь тысячи писем, хранишь свидетельства мужчин и женщин, которым твои песни помогли в трагические минуты. Я их читала. Тебе пишут подводники, оказавшиеся однажды взаперти в стальном гробу, альпинисты, заблудившиеся в бурю, водители грузовиков, потерявшие дорогу в степи, космонавты, которых поддерживали в звездной пустоте твои шуточные песни, молодые преступники, к которым возвращалась после тяжелого наказания способность жить, женщины, разучив-

шиеся было смеяться под тяжестью горя и забот, старики, благодарящие тебя за то, что ты так хорошо почтил память их товарищей, павших за Родину, начинающие артисты, берущие тебя в пример и клянущиеся работать изо всех сил. И еще — солдаты из контингента, воюющего на границе с Китаем, или те, кто вернулся после "нормализаторской миссии" из Чехословакии, или просто призванные на три года — их искренность и смятение вызывают у тебя слезы. Эти письма оправдали задним числом твои предшествующие песни. Ты говорил, что они будут лучшим адвокатом в процессе, который беспрерывно возбуждают против тебя твои цензоры. Но письма исчезли, потому что показались кому-то слишком скандальными.

Ты писал мне в семидесятом году: "Я позвонил матери, оказалось, что сегодня она ночевала у одной из моих знакомых с радио. Могу представить себе их разговор!.. Идея все та же, чтобы люди знали, "какая она исключительная мать" и т.д. Она могла пойти как минимум в пять мест — к родственникам, но она пошла к моим "друзьям", бог с ней!.. Я сегодня злюсь, потому что к тому же она снова рылась в моих бумагах и читала их".

Исчезли также около полутора тысяч моих писем, которые, безусловно, грешили преувеличенной влюбленной восторженностью, так же как и сотни телеграмм — голубых бабочек нашей жизни, летевших к тебе со всех концов света, чтобы поддержать, успокоить, рассказать тебе о моей любви. К счастью, остались твои песни. В них сохраняются эти сокровища.

Иногда ты просыпаешься, шепча бессвязные слова, встаешь с постели, и я вижу, как ты стоишь раздетый, переминаясь с ноги на ногу на холодном полу, вырисовываясь в бледном проеме окна, словно одноногая цапля. Ты долго остаешься в такой позе, пишешь на всем, что тебе попадает под руку, потом холодный как льдышка ныряешь под одеяло, а утром мы вместе разбираем скачущие строчки. А бывает, что ты, кажется, задремал, но по тому, как ты ворочаешься с боку на бок, я понимаю, что сейчас ты начнешь говорить. Ты лежишь с закрытыми глазами и едва успеваешь скороговоркой описывать все, что мелькает в твоём воображении, — цветные картины с шумами, запахами и множеством персонажей, характер и внешность которых тебе удастся передать в нескольких словах. Мы называем это "снами наяву". Обычно они предшествуют большому сти-

хотворению, в котором почти всегда речь идет о России. "Кони привередливые", "Купола", "Дом", "Как по Волгематушке" были написаны под впечатлением таких видений.

При Сталине за такие песни тебя бы, наверное, просто расстреляли, но тебе повезло — ты не только жив, родившись в тридцать восьмом году, но еще и можешь пользоваться магнитофоном, о чем не могли мечтать поэты, жившие до тебя. Без этого чудесного изобретения твои произведения остались бы неизвестными широкой публике. Благодаря магнитофону текст, прочитанный рано утром, спетый вечером в театре, а потом — у друзей, через несколько дней подхватывают в глубине Сибири, на борту кораблей, которые плавают по всему миру, в русских и советских общинах, во всех уголках планеты. С одинаковым пылом старики, молодые, немного позже — студенты, изучающие русский язык, слушают и комментируют твои песни. На концертах в стране и за границей ты с огромным интересом обнаруживаешь, что песни, предназначенные для нескольких близких друзей, всем известны, нравятся и каждый раз их просят на бис. Иногда ты забываешь слово, и публика подсказывает тебе. В Париже, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Венгрии, Болгарии и Советском Союзе перед непрерывно растущей аудиторией ты всякий раз получаешь полное подтверждение успеха твоей работы. А ведь ты поешь один, не имея никакой другой техники, кроме обычного концертного микрофона! Сколько зрителей побывало на твоих концертах? Сколько людей слушали твои записи?.. Невозможно сосчитать.

Последние годы ты будешь готовиться перейти на прозу, ты напишешь несколько рассказов и сценариев, ты мечтаешь работать над дорогими тебе темами. Может быть, ты чувствуешь уже, что поэзия в той форме, которую ты определил для себя с самого начала, — текст, поющий под гитару, — стала тесна тебе. И захочешь выйти за пределы этой формы.

Все чаще станет появляться в наших беседах вопрос о смерти. Многих близких уже нет в живых. Ты серьезно подумываешь провести несколько месяцев во Франции, чтобы писать там в свое удовольствие, ты поговариваешь о том, чтобы уйти из театра, режим которого тебя все больше тяготит. Я решаю снова переехать в свой большой дом под Парижем, чтобы ты мог там спокойно работать.

Начало 1979 года. Я ремонтирую виллу в Мезон-Лаффите, откуда уехала шесть лет назад, и с радостью возвращаюсь туда. А ты продолжаешь писать, раскладывать, отдавать в

перепечатку и исправлять рукописи. Я всегда удивляюсь той бережностью, с которой ты относишься к тому, что пишешь. В самом плохом состоянии, когда все в доме может быть разбито, отдано, испачкано, разорвано и даже выброшено в окно, никогда ни листочка не исчезнет с твоего письменного стола. Все бумаги заботливо уложены в разноцветные картонные папки и даже то, что, кажется, в беспорядке валяется то там, то здесь, никогда не пропадает. Ты, щедро разбазаривающий вещи, силы и жизнь, ни разу не потерял и не испортил ни одной страницы рукописи.

Однажды вечером ты возвращаешься поздно, и по тому, как ты хлопаешь дверь, я чувствую, что ты нервничаешь. Я вижу тебя из кухни в конце коридора. Ты бросаешь пальто, кепку и большими шагами направляешься ко мне, потрясая какой-то серой книжкой. "Это слишком! Ты представляешь, этот тип, этот француз — он все у меня тащит! Он пишет, как я, это чистый плагиат! Нет, ты посмотри: эти слова, этот ритм тебе ничего не напоминают? Он хорошо изучил мои песни, а? Негодяй! И переводчик мерзавец, не постеснялся!"

Мне не удастся прочесть ни слова, ты очень быстро пролистываешь страницы. Потом начинаешь ходить взад-вперед по квартире и, ударом ладони подчеркивая рифмы, ты цитируешь мне куски, которые тебя больше всего возмущают. Я начинаю хохотать, я не могу остановиться. Задыхаясь, я наконец говорю, что от скромности ты, по-видимому, не умрешь и что тот, кто приводит тебя в такое бешенство, не кто иной, как наш великий поэт, родившийся почти на целый век раньше тебя, — Артюр Рембо. Ты открываешь титульный лист и краснеешь от такого промаха. И, оставив обиды, ты всю ночь с восторгом читаешь мне стихи знаменитого поэта.

Мой дед по линии отца был неисправимым гулякой. Единственный наследник богатой московской семьи, он исчезал на несколько дней в компании цыган в места сомнительных удовольствий и в самой что ни на есть русской манере увязал в распутстве, чтобы затем его, терзаемого угрызениями совести, приносил домой на руках кучер. Он передавал моего деда выездному лакею, и тот чистил его скребницей для лошадей, отмывал, брил и одевал в чистое белье. Потом дед посылал своего личного секретаря купить дорогое украшение и, пристыженный, появлялся перед моей разгневанной

бабушкой. И она, растаяв от подарка, а особенно от любви к этому шальному существу, прощала ему все.

Наши отношения строятся почти по такой же схеме. Ты исчезаешь. Я об этом узнаю. Если я за границей, я вылетаю первым же самолетом, если нет — веду расследование и потом не посылаю за тобой кучера, а сажусь за руль и еду. Сначала нужно оторвать тебя от случайных друзей, развязных и прилипчивых, потом — заставить тебя сесть в машину и привезти домой. Здесь не лакей моет и переодевает тебя в чистое, а я. Тут большое значение приобретают размеры квартиры. Например, в узком коридоре я должна проявить особое искусство, чтобы ты не стучался слишком сильно о стены. В большой квартире, где мы живем уже шесть лет, мне приходится прибегать к акробатическим трюкам. Ты бегаешь от меня по комнатам, и наконец, совершенно обессиленные, мы все же заканчиваем процедуру переодевания. Просто невозможно вообразить себе, до какой степени человек может перепачкаться за несколько часов пьянки. Потом, поскольку у тебя нет личного секретаря, чтобы купить мне подарок, ты объясняешься со мной с пустыми руками. И наверное, я люблю тебя не меньше, чем моя бабушка любила своего взбалмошного супруга, потому что ярость моя быстро спадает, и я легко прощаю. Ты чувствуешь, что виноват, и обещаешь, что такого никогда больше не повторится. И, напустив на себя побольше серьезности, я выговариваю тебе за то, что ты не подарил мне как минимум по хорошей жемчужине за каждое свое художество.

Это было бы, наверное, очень красиво — жемчужная нитка до пупа...

Ты едешь на машине в Армению с Давидом — приятелем, который там родился. Ни у одного из вас нет водительских прав, и едете вы, естественно, с запасом коньяка в багажнике. Армения — это суровая красота горных пейзажей и чистота фресок, украшающих древние монастыри...

При выезде из Москвы все трагично. Мы только что в зный раз расстались, ты ушел из театра после страшного скандала с Любимовым. К тому же, плохо вписавшись в поворот, вы несколько раз переворачиваетесь через крышу и остаетесь невредимыми лишь потому, что, как ты говоришь, бог пьяных любит. Немного собравшись с силами и заменив бутылки, разбитые во время невольного каскада, вы снова трогаетесь в путь. Мишель — жена Давида, которой,

кстати, принадлежит машина, — уже не знает, каким святым молиться. Я в это время еду в Париж и узнаю подробности эпопеи лишь значительно позже.

Как только попадается первый монастырь, ты неловко пытаешься перекреститься. В третьем монастыре, уже после четвертой бутылки коньяка, Давид с трудом удерживается от хохота: ты стоишь на коленях, в глазах — слезы, ты громко объясняешься с высокими лицами святых, изображенных на стенах. Накаленный до предела величественными пейзажами, красотой архитектуры и огромным количеством выпитого вина, ты на четвереньках вползаешь в церковь. Ты издаешь непонятные звуки, бьешься головой о каменные плиты пола. Спьяну ты ударился в религию. Потом вдруг, устав от такого количества разных переживаний, та засыпаешь как убитый, распластавшись на полу.

Это единственный раз на моей памяти, когда твое критическое отношение к театральности православной церкви тебе изменяет. Позже, рассказывая мне эту историю, ты заключаешь:

— Заставь дурака богу молиться — он и лоб расшибет.

У тебя два сына от второго брака — Аркадий и Никита. Когда я с ними знакомлюсь, им примерно шесть и семь лет. Я удивлена твоим резким нежеланием говорить о них. Я прошу тебя познакомить нас, но ты говоришь, что твоя бывшая жена не хочет, чтобы ее дети встречались с иностранкой, да и ваши отношения натянуты. Я чувствую, что здесь потребуется много терпения. Мне бы очень хотелось иметь возможность общаться с твоими сыновьями — я вижу, что ты и сам мучаешься от всего этого. И потом, мои трое мальчиков приезжают к нам на каникулы, ты их очень любишь, но жалеешь, наверное, что твои собственные дети не с нами.

Мой младший сын, которого тоже зовут Владимир, с первых же минут знакомства загорается пламенной дружбой к тебе. Он, как маленький зверек, все время жметя к твоим ногам, рассказывает тебе бесконечные истории на языке, понятном только вам двоим, постоянно повторяет твое имя: Володя, Володя. Однажды, как раз накануне приезда в Москву, он сломал руку, и мы ведем его к врачу, потому что он жалуется на сильные боли. Оказывается, спицы, вставленные в кость мясником-хирургом, внесли заражение. Значит, надо положить его в больницу. Нам жалко на него смотреть, потому что, не говоря по-русски, он совершенно теряется

среди детей в палате. Ты договариваешься с хирургом, чтобы его положили отдельно. Таким образом, мы можем посменно дежурить возле него. Взамен ты даешь небольшой концерт для медсестер, врачей и всех больных детей. Владимир гордится тобой, и его пребывание в больнице становится приятным до такой степени, что однажды, оставив его в слезах, мы буквально через несколько минут видим, как он организует футбольный матч в коридоре, бьет ногой по резиновым игрушкам, возбуждая соперированных мальчишек, которые прямо с капельницами вылезают из палат посмотреть, — одним словом, устраивает полную неразбериху на этаже, где отныне ему все позволено.

Твои отношения с двумя другими моими сыновьями, Игорем и Петей, походят скорее на сообщничество. Самый красноречивый эпизод происходит однажды, когда, вернувшись домой, чтобы переодеться для вечера, я нахожу своих мальчиков очень занятыми импровизацией ужина, который должен был приготовить им ты, — в то время мы живем одни, твоя мать в отпуске на море.

Они говорят мне, что ты ненадолго отлучился, но подъедешь попозже. Тогда я беру такси, потому что машина у тебя — "Рено-16", которую я привезла из Парижа и на которой ты научился водить, — и отправляюсь на званный вечер одна. Ты приезжаешь гораздо позже, в бледно-желтом свитере, с мокрыми волосами и чересчур беспечным видом. Заинтригованная, я спрашиваю тебя, где ты был. Ты говоришь, что объяснишь потом. Я не настаиваю. Вечер проходит, симпатичный и теплый, но ты отказываешься петь, ссылаясь на хрипоту, чего я раньше никогда за тобой не замечала... Я буквально теряюсь в догадках. Мы выходим, и, когда наконец остаемся одни, ты рассказываешь, что из-за какого-то наглого автобуса потерял управление машиной, вылетел через ветровое стекло, вернулся домой в крови, мои сыновья заставили тебя пойти к врачу, машина стоит в переулке за домом немного помятая, но что касается тебя — все в полном порядке! И чтобы успокоить меня, ты быстро отбиваешь на тротуаре чечетку.

Только вернувшись домой, я понимаю всю серьезность этой аварии: весь перед смят, машины больше нет. Твоя голова, на которой прилизанные волосы закрывают раны, защита в трех местах двадцатью семью швами. Правый локоть у тебя распух, обе коленки похожи на спелые баклажаны. Мои два мальчика не спали, чтобы присутствовать при нашем

возвращении. Они потрясены твоей выдержкой. Особенно они гордятся тем, что не выдали вашей общей тайны. Соучастниками вы останетесь до конца. Став взрослыми, они будут лучшими твоими адвокатами передо мной и, как в этот вечер семьдесят первого года, всегда будут защищать своего друга Володю ото всех и наперекор всему.

В начале нашей совместной жизни ты мечтал о ребенке. Рождение двух сыновей, навязанное хитростями твоей жены, которая сообщала тебе об этом лишь тогда, когда уже было поздно что-либо предпринимать, привело тебя в отчаяние. Я же просто запрограммировала рождение сыновей, почти что день в день, я боролась во Франции за право супружеских пар иметь желанных, а не случайных детей и никогда не соглашалась родить ребенка — заложника нашей жизни. Наше положение, и без того трудное, было бы совершенно невыносимым, если бы между нами было маленькое существо. Он был бы не связью, а препятствием, он воплотил бы в своем существовании все противоречия, которыми мы болели. Мотаясь между Востоком и Западом, он никогда не смог бы найти своих настоящих корней. Надо сказать, что семья твоей бывшей жены долгие годы внушала тебе, что нервная болезнь, которой тогда страдал твой старший сын, есть следствие твоего алкоголизма. Но даже когда выяснилось, что это не так, тебе не удалось уговорить меня. Достаточно было нас двоих, чтобы тащить на себе проблемы нашей семьи, и конец нашей с тобой истории подтвердил правильность моего отказа. Остаться без отца в тринадцать лет было для меня раной, от которой я больше всего страдала в жизни.

Ребенку, о котором ты мечтал, могло бы быть от одиннадцати до года в июле восьмидесятого.

В холле гостиницы "Европейская" в Ленинграде возвышается расшитый золотом портье. Всюду — остатки былой роскоши: красные ковры, хрустальные люстры, бронза, изуродованная электрическими лампочками, рассеивающими желтоватый свет. И к сожалению, по всей гостинице — неоны, ослепляющие и мрачные, режут глаз на фоне остального великолепия. В довершение картины то здесь, то там попадаете чуть ли не кухонная мебель с пластиковым покрытием. Зато вдруг увидишь иногда какое-нибудь очень красивое трюмо, обычно — в стиле ампир, дающее представление о том, чем была эта гостиница в свое время. Мы с удовольствием останавливаемся здесь. В гостинице хорошая кухня, и потом —

она очень удачно расположена: в самом центре города, совсем рядом со Смольным. Здесь у нас много друзей — писателей, композиторов, художников. Мы проводим нескончаемые белые ночи в прогулках по проспектам, огибающим роскошные дворцы. Мы подолгу останавливаемся перед Адмиралтейством, где заседал некогда мой прадед — адмирал Балтийского флота. Тебе не надоедают мои рассказы, ты гордишься тем, что мои корни так глубоко уходят в русскую землю, твои друзья тоже слушают с интересом. В заключение я нарочно спрашиваю их, не является ли случайно партийный секретарь Ленинграда товарищ Романов потомком императорской семьи? Он — твой заклятый враг, он питает к тебе личную ненависть, которая всегда отравляла тебе выступления в Ленинграде или в Ленинградской области, даже когда ты приезжал на гастроли с театром. Я слышала много отзывов о Романове — и право же, редко кого так разделявали в пух и прах, как этого товарища. Говорят, что фамилия стоила ему поста Генерального секретаря, которого он упорно домогался. Я не могла не улыбнуться, узнав о том, что его прокатили.

С течением лет гостиница "Европейская" утратила свое спокойствие из-за нашествия финнов. Целыми автобусами они пересекают границу и буквально захватывают город. В пятницу вечером в ресторане невозможно найти свободного места, в гостиничном баре яблоку негде упасть. Мужчины и женщины сначала опираются на стойку, а потом уже цепляются за нее. И все методично накачиваются водкой. Как только один падает, следующий занимает его место. Находя зрелище отвратительным и не особенно педагогичным для тебя, я направляюсь к выходу. Здесь портье на пару с каким-то дюжим малым уже загружают бесчувственные тела в автобус, состояние которого после поездки противно себе представить. Раза два или три ты оборачиваешься, и я замечаю в твоих глазах огонек зависти. Ты перехватываешь мой взгляд и не можешь удержаться от смеха. Я беру тебя под руку, и мы весело отправляемся гулять.

У тебя есть тайная страсть к одному человеку, которым я сама глубоко восхищаюсь. Однажды, весь сияя от радости, ты сообщаем мне, что Святослав Рихтер ждет нас к чаю. Я редко видела, чтобы у тебя так светились глаза. Ты чрезвычайно старательно выбираешь что надеть и все время спрашиваешь меня, который час. Нам и вправду оказана великая

честь. С Рихтером мало кто встречался у него в доме — он очень замкнутый человек и привык к одиночеству, к тому же он почти все время на гастролях. Ты польщен тем, что твои песни, твоя работа в театре нравятся ему. Это приглашение — своего рода признание. Ты, уличный мальчишка с Мещанки, композитор, не умеющий записать ноты, приглашен самым великим пианистом своей страны — какое счастье! Я познакомилась с Рихтером в Париже у моей сестры Одиль Версуа, его давней и страстной поклонницы и близкой подруги. Я тоже робею, поскольку, за исключением этой короткой встречи, я видела его лишь как восторженная зрительница на концертах.

Как дети, мы переглядываемся, прежде чем войти в подъезд красивого дома в центре Москвы, где он живет. Мы поднимаемся по лестнице и звоним. Ты не успеваешь опустить рук, старающихся пригладить непослушные волосы, как дверь открывается. Ты так и остаешься стоять — руки вверх. Седовласый великан с мягкими голубыми глазами протягивает тебе ручищи, и невозможно себе представить, что эти огромные пальцы умеют скользить по клавишам, заставляя их так удивительно звучать! Мы входим в очень большой светлый зал. Здесь стоят два черных рояля, несколько банкетов вдоль стены. На полу разбросано конфетти, разноцветный серпантин цепляется за ноги. На банкетках — бумажные колпаки, свистульки и маски напоминают о том, что только-только кончился праздник.

— Сегодня ночью я принимал моих сокурсников по консерватории — всех, кто остался в живых, ведь столько лет прошло. Мы веселились всю ночь, играли в шарады... Разве теперь умеют так веселиться? Идемте, моя жена ждет вас.

После большого зала по-восточному убранная комната, где накрыт чай, кажется особенно уютной. Красивая женщина, одетая в темный шелк, здоровается с нами глубоким голосом оперной певицы. Я замечаю, что ты слегка покраснел. Сжимаешь и разжимаешь пальцы, твой голос, еще более хриплый, чем обычно, выдает волнение. Мы пьем янтарный чай из старинных фарфоровых чашек и едим тающее во рту домашнее печенье. В разговорах о том о сем мы дивно проводим время. И, волоча за собой несколько ленточек серпантина, приставших к обуви, мы спускаемся по лестнице, все еще находясь во власти волшебства.

В восемьдесят четвертом году я буду присутствовать в Париже на репетиции Рихтера. Когда маэстро поднимется,

я подойду к нему, и мы посмотрим друг на друга долгим взглядом. Своими сильными руками он возьмет меня за плечи, печально улыбнется и тихо скажет:

— Нужно всегда быть готовым умереть. Это — самое важное.

Единственный поэт, портрет которого стоит у тебя на столе, — это Пушкин. Единственные книги, которые ты хранишь и время от времени перечитываешь, — это книги Пушкина. Единственный человек, которого ты цитируешь наизусть, — это Пушкин. Единственный музей, в котором ты бываешь, — это музей Пушкина. Единственный памятник, к которому ты приносишь цветы, — это памятник Пушкину. Единственная посмертная маска, которую ты держишь у себя на столе, — это маска Пушкина.

Твоя последняя роль — Дон Гуан в "Каменном госте". Ты говоришь, что Пушкин один вмещает в себе все русское Возрождение. Он — мученик, как и ты, тебе известна каждая подробность его жизни, ты любишь людей, которые его любили, ты ненавидишь тех, кто делал ему зло, ты оплакиваешь его смерть, как будто он погиб совсем недавно. Если воспользоваться словами Булгакова, ты носишь его в себе. Он — твой кумир, в нем соединились все духовные и поэтические качества, которыми ты хотел бы обладать.

...На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля —

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Когда небо розовеет, позолоченные купола церквей вырисовываются на нем китайскими тенями и легкий туман поднимается над рекой, ты любишь побродить по городу.

Тепло одевшись, мы собираемся пройтись по бульварам, поклониться Пушкину. Мы гуляем по аллеям, обрамленным по обе стороны небольшими старинными особняками пастельных тонов и восхитительными коваными решетками. Здесь растут последние большие деревья в Москве. Гуляя, мы всегда оказываемся в одних и тех же местах, впрочем, это почти все, что осталось от старого города: Садовое кольцо, бульвары, Арбат. Эти улицы и переулки полны очарования. На Арбате мы пытались когда-то найти квартиру, но тщетно.

Как-то раз мы гуляем по Садовому кольцу, и я наконец нахожу дом моих родственников по отцовской линии. По описаниям одного старого московского приятеля моего отца нам удастся вычислить то место, где раньше стоял дом, — это там, где находится памятник Маяковскому, несколько новых домов и "Современник". Как же мы были удивлены, узнав, что театр был построен прямо на месте особняка, где родился мой отец!.. Теперь сломали и театр.

Мы часто ходим на Центральный рынок — тоже по бульварам: нам очень нравятся здешняя атмосфера, шумы и резкие запахи. Здесь можно купить у краснощеких баб разноцветные грибы, свежий творог, яйца, даже иногда — домашнее масло, мед и разные крашенные деревянные игрушки. Зимой — яблоки, сморщенные, как и старухи, которые их продают, но такие вкусные, если их запечь в духовке с куском свинины или уткой. В этой части города есть еще хорошие рестораны — "Армения", "Узбекистан", "Арагви", "Пекин", где мы устраиваем целые пиршества, а потом возвращаемся домой пешком, объевшиеся и довольные. Иногда мы идем на Красную площадь, особенно в разгар зимы, когда на фоне снега выступает собор Василия Блаженного, у которого купола похожи на большие разноцветные леденцы. Здесь в 1889 году крестили моего отца. Мы любим ходить в зоопарк. Мне он кажется самым красивым с мире, потому что я его хорошо знаю — мы живем неподалеку. Когда у нас есть немного времени и открыта площадка молодняка, мы не можем оторваться от этих зверушек, невинно играющих друг с другом: здесь и волчата, и ягнята, и тигрята, и медвежата. Глядя на них, можно представить себе, каким был бы рай, если бы он существовал. Немного дальше мы находим наших любимиц — двух пум с серо-голубыми глазами, спокойная величавость которых вдруг нарушается стремительностью прыжка. С необыкновенной легкостью они достигают высоких веток мертвых деревьев, где они спят целыми днями, свесив вниз хвосты. Мы никогда не забываем заглянуть к волкам, таким несчастным в клетках, где они беспрерывно ходят по кругу, — скорее для того, чтобы бросить им братский взгляд, чем чтобы восхищаться ими.

Другой маршрут ведет нас на Новодевичье кладбище. Здесь похоронены многие великие люди России. Как и все православные кладбища — это чудесный сад. Нет ничего печального или холодного в этом пространстве, где мы бродим, перебирая имена, обрывки стихов или музыки. Мы

всегда подолгу стоим у могилы Чехова, для меня — одного из самых великих. Ему я особенно благодарна за то, что он мне дал самое сильное счастье в моей театральной жизни, когда я играла в "Трех сестрах" с моими сестрами Одиль Версуа и Элен Валье. И ведь, снимаясь в фильме о Чехове — "Сюжет для небольшого рассказа", — я встретила тебя, полюбила и вышла за тебя замуж...

Но самый любимый, не меняющийся с годами маршрут проходит через несколько домов за городом. Мы идем поприветствовать старого физика, покровителя искусств — академика Капицу. У него дома стоит "вертушка", и он может напрямую разговаривать с великими мира сего — вещь невозможная для обычного смертного. Благодаря ему много раз удавалось в самой крайней ситуации спасти спектакль. Его взгляд остается в моей памяти, удивительно нежный и сияющий.

Иногда мы идем на дачу к Пастернаку. Здесь нас принимает Бриджит Анжерер — молодая французская пианистка, ученица хозяина дома, Станислава Нейгауза, твоего собрата по саморазрушению. Этот дом хранит в себе сокровища ослепительной и трагической эпохи двадцатых-тридцатых годов. Мы вместе идем на Переделкинское кладбище поклониться могиле Пастернака. Он так и не сдался, его профиль на барельефе выразит гордость и решимость, которые были присущи ему всю жизнь.

Потом мы делаем крюк через заваленную всяким хламом, но уютную дачу Беллы Ахмадулиной. Атмосфера здесь совершенно иная. Чувствуется, что внешний вид дома не имеет никакого значения для хозяев. Мебель здесь совершенно случайная, чистота сомнительная. Кошки и собаки играют прямо на кроватях с детьми поэтессы. На стене прикреплена немного скрючившаяся фотография — это двое очень близких друзей: Булат Окуджава в черном костюме и его жена с начесом и в короткой юбке. Как говорит Булат: "Это когда мы были старыми, в шестидесятом!" Булатик, как мы между собой его называем, — твой "первый в связке". Он первым нарвался на неприятности автора—композитора и исполнителя, профессии, которая не являлась таковой в СССР. Он был одним из немногих, кто всегда тебя поддерживал и защищал.

Когда мы не находим Беллу, старая бабка, которая сидит с детьми, импровизирует обед из того немногого, что у нее есть. Мы едим все вместе — дети и взрослые, кошки и собаки. Получается очень вкусно. Если Белла дома, все затихает и

лишь только слушает. Звучит ее неподражаемый голос, бледное трагическое лицо поднято к небу, шея напряжена, вены как будто готовы лопнуть — это и боль, и гнев, и любовь. Выпив немного вина, она раздражается веселым и свежим смехом, и время, остановленное на какой-то момент ее талантом, потекло вновь. Мы прощаемся и спускаемся к реке. Ты берешь меня за плечи, и мы долго сидим лицом к закату. В завитках реки отражается розовое небо, вечерние звуки распространяются в чистом воздухе, ты ищешь мою руку. Это — покой.

В конце длинной равнины, у самого горизонта, прямо перед нами маячит граница. Я тайком наблюдаю за тобой, ты сидишь очень прямо, не прислоняясь к спинке сиденья, и немигающими глазами смотришь вперед. Только ходят желваки и побелели пальцы сцепленных рук. От самой Москвы мы ехали очень быстро. Разговор становился все более увлеченным и по мере нашего продвижения на Запад переходил в монолог. А теперь и ты замолчал. Я тоже сильно волнуюсь. У меня в голове прокручиваются всевозможные сценарии: тебя не выпускают, задерживают или даже запирают на замок прямо на границе, и я уже воображаю себе мои действия — я возвращаюсь в Москву, нет, во Францию, нет, я остаюсь возле тирьмы и объявляю голодовку — чего только я себе не напридумывала! Мы курим сигарету за сигаретой, в машине нечем дышать. Наконец, пройдены последние километры. Я сбрасываю скорость, мы приехали. Я вынимаю из сумочки паспорт, страховку, документы на машину и отдаю все это тебе. Ты сильно сжимаешь мне руку, и вот мы уже останавливаемся возле пограничника. Этот очень молодой человек делает нам знак подождать и исчезает в каком-то здании, где контражуром снуют фигуры. Мы смотрим друг на друга, я стараюсь улыбнуться, но у меня что-то заклинивает. Молодой человек машет нам с крыльца, я подъезжаю к зданию, резко скрежетнув тормозами. Мы оба очень бледны. Я не успеваю выключить двигатель, как вдруг со всех сторон к нам кидаются таможенники, буфетчицы, солдаты и официантки баров. Последним подходит командир поста. Вокруг — улыбающиеся лица, к тебе уже вернулся румянец, ты знакомишься с людьми и знакомишь меня. И тут же пищешь автографы на военных билетах, на ресторанном меню, на паспортах или прямо на ладонях... Через несколько минут мы оказываемся в здании, нам возвращают уже проштемпелеванные

паспорта, нас угощают чаем, говорят все наперебой. Потом все по очереди фотографируются рядом с нами перед машиной. Это похоже на большой семейный праздник. Повеселев, мы едем дальше. И еще долго видно в зеркальце, как вся погранзастава, стоя на дороге, машет нам вслед. Мы обнимаемся и смеемся, пересекая нейтральную полосу. Ту самую нейтральную полосу...

Поляки держат нас недолго, и, как только граница скрывается за деревьями, мы останавливаемся. Подпрыгивая, как козленок, ты начинаешь кричать изо всех сил от счастья, от того, что все препятствия позади, от восторга, от ощущения полной свободы. Мы уже по ту сторону границы, которой, думал ты, тебе никогда не пересечь. Мы увидим мир, перед нами столько неоткрытых богатств! Ты чуть не сходишь с ума от радости. Через несколько километров мы снова останавливаемся в маленькой, типично польской деревушке, где нас кормят кровяной колбасой с картошкой и где крестьяне смотрят на нас с любопытством — их удивляет наша беспечная веселость счастливых людей.

Мы едем дальше, и все совсем наоборот, чем в твоей песне, где человек умоляет не уводить его из весны, мы едем на Запад, весна увлекает нас за собой, деревья покрываются бледно-зеленой дымкой, сквозь прошлогоднюю траву уже пробивается новая, пригревает еще робкое солнце. Ты вслух сочиняешь стихи. Это будет поэма о первом путешествии. Ты комментируешь все, что видишь, совсем как азиатский акын. Мы приближаемся к Варшаве, и тон становится драматическим. Сначала идут сюрреалистические описания абстрактных картин, образуемых на ветровом стекле раздавленными мошками, потом в твоём воображении перед нами возникают, как часовые, солдаты второй мировой войны, и, наконец, на берегу Вислы ты просишь меня еще раз остановиться. Ты долго разглядываешь город-мученик и рассказываешь мне, как два нескончаемо долгих дня Красная Армия ждала на этом самом берегу реки, пока в городе не завершится бойня, — таков был секретный приказ. Тогдашнее советское правительство, иначе говоря Сталин, хотело, чтобы во главе государства оказались только польские коммунисты, прошедшие подготовку в Москве. Поэтому не следовало мешать уничтожению местных коммунистов.

Известный польский актер Даниэль Ольбрыхский однажды вечером пробрался в Театр на Таганке через форточку,

чтобы посмотреть на тебя в "Гамлете". Билета у него, конечно же, не было, а спектакль уже начался, и двери закрылись. Он был поражен тогда твоим мастерством, а потом перевел твои песни и исполнял их перед польскими слушателями. Даниэль — неутомимый борец и всегда оказывается в самой гуще всех государственных дел. Сегодня мы должны ему позвонить, как только станем подъезжать к Варшаве, чтобы он нас встретил и отвез к себе. Мы заходим в первую попавшуюся гостиницу, говорим по телефону с Моникой, его женой. С ней мы пока не знакомы. Она сообщает, что Данек снимается в Лодзи, это несколько сот километров от Варшавы, и что он будет поздно вечером, а она сама сейчас же выезжает нас встретить. В ожидании мы пьем кофе в баре гостиницы. Через некоторое время к нам подходит красивая рыжая женщина, которая почему-то страшно нервничает. Приехав в их дом, где все уже готово к приему гостей, мы понимаем, что произошло нечто ужасное. Позже выяснилось, что гостиница, из которой мы позвонили, совершенно случайно оказалась местом, где Данек в это же самое время проводил вечер в приятной компании. Несмотря ни на что, твое прибытие удалось отпраздновать. Все твои польские друзья пришли тебя обнять — Вайда, Хофман, Занусси и столько других, которые по-настоящему знают и любят тебя. Вечеринка кончается очень поздно. На следующий день мы в стремительном темпе пробегаем по центру Варшавы, ты бросаешь в кружку для пожертвований на реконструкцию старого города горсть монет, а я — одно из моих колец, как это делают поляки. Затем Данек садится в машину и едет впереди нас со скоростью сто восемьдесят километров в час по дороге на Запад. Я кое-как поспеваю за ним. В нескольких километрах от границы с Восточной Германией мы обнимаемся на прощанье.

Еще несколько раз мы будем в Варшаве, и каждый приезд будет удивительным, как и все эти люди, стремящиеся вновь обрести достоинство.

...После бесконечных объяснений Данеку удастся получить визу и приехать в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое июля 1980 года в Москву. Мы снова соберемся в нашей квартире, где все по-прежнему, только нет тебя. Мы будем долго говорить, и я пообещаю исполнить их просьбу: прядь твоих волос и горсть земли с твоей могилы ныне захоронены на родине людей, которые любили тебя и которым ты отвечал тем же.

Из-за твоего несгибаемого патриотизма все, что хоть сколько-нибудь могло задеть образ России, причиняло тебе боль. Что касается событий в Польше, как раньше в Венгрии и Чехословакии, то здесь были и споры, и горькая критика, и осуждение. Но вот события в Афганистане вызвали в тебе отвращение. И такую боль — словно ты осознал наконец предел переносимого ужаса. Надо сказать, что документальные кадры, которые ты видел за границей по телевизору, действительно были ужасны: афганская девочка, сожженная напалмом, как маленькая вьетнамка, и лица солдат... На этот раз это были не те смущенные и растерянные лица танкистов, оккупировавших Будапешт или Прагу. Мы узнали потом, что в Афганистане экипажи танков сменялись каждые двадцать четыре часа — столько было случаев депрессии и помешательства.

Нет, в восьмидесятом году у грязной войны больше не было человеческого лица. Это будет твоей последней горестью.

Однажды вечером в Париже мы возвращаемся после репетиции "Гамлета", которого ты должен играть через несколько дней в Шайо, и попадаем в огромную пробку. Час пик в самом разгаре. Мы застряли и уже минут двадцать стоим возле Безонского моста. Вдруг какой-то парень, явно не в себе, цепляет мотоциклиста, стаскивает его на асфальт и, словно в приступе безумия, ожесточенно набрасывается на мотоцикл. У него окровавлены руки. Он бросается на машины, бьется головой в стекла. В ярости он открывает дверцу соседней машины, вытаскивает оттуда пассажирку и начинает ее душить. Мужчины бросаются к нему, перепрыгивая через капоты — машины стоят впритык. Ты порываешься выскочить, я повисаю на тебе и кричу:

— Не надо, ты — советский, ты не можешь быть замешан в драке!

Ты пытаешься вырваться, но уже приехала полиция, сумасшедшего связывают, и в несколько секунд все кончено.

Ты с горечью смотришь на меня:

— Даже здесь я не имею права вести себя как свободный человек!..

Сидя на полу на больших подушках, мы смотрим "Тимона Афинского" в мастерском исполнении актеров Питера Брука.

Тебя моментально захватывает трагическая красота здания, в котором идет спектакль. Несколько лет назад театр сгорел, и после пожара остались лишь голые стены. Здание не стали восстанавливать, только заново настелили пол, и все пространство превратилось в огромную сцену, где актеры как бы смешиваются с публикой и от этого зрители напоминают детей, усевшихся в круг, чтобы послушать сказку. Такая обстановка как нельзя лучше подходит для представления шекспировских пьес. А в этой, которая обычно кажется слишком длинной, вдруг возникают одна за другой сцены такого богатства и совершенства, что публика просит повторить их на бис. Между тем мы сидим вот так, прижавшись друг к другу, уже больше трех часов. Ты в восторге, ты кричишь: "Браво!" — и, когда зал пустеет и невысокий человек с синими глазами и всклокоченными седыми волосами направляется через сцену к нам, ты бросаешься его обнимать. Питер Брук — настоящий англичанин, несмотря на русское происхождение, и твой порыв его не на шутку пугает. Он и так весь красный, а уж тут становится прямо-таки ярко-фиолетовым. Оправившись от изумления, он представляет актеров, которых ты тоже долго поздравляешь. Потом Питер просит тебя спеть. Теперь приходит твоя очередь краснеть от удовольствия. Ты бежишь к машине за гитарой, все актеры располагаются на скамейках вдоль стен и на полу. В опустевшем театре, где витает золотистая дымка пыли, громче звучит твой голос, заполняя пространство глухими раскатами русских слов. Я вглядываюсь в изможденные усталостью лица, на которых после спектакля остались, кажется, одни глаза. Актеры все как один застыли в напряженных позах, подались вперед, стараясь не упустить ни слова, ни ноты из песни. Но кто меня буквально потрясает — это сам Питер: в течение всего импровизированного концерта он не отрываясь смотрит на тебя полными слез глазами и восторженно улыбается. И когда час спустя мы выходим из театра, ты говоришь мне:

— Я впервые пел на Западе. Вот видишь, это вполне возможно. Меня хорошо слушали.

В глубине двора, в здании, напоминающем старинную конюшню, ты уже несколько дней записываешь свою первую заграничную пластинку. Договорились в два счета. Ты отдал им авторские права на двадцать пять песен, а фирма "Шандю Монд" берет на себя всю техническую организацию дела — и, надо сказать, это было достаточно смело с ее стороны,

потому что она выпускает пластинки советских артистов, и за подобный шаг на нее, конечно же, могли посыпаться упреки. Фирма берет на себя абсолютно все — от записи песен до продажи пластинки.

Мы не спим ночей, и оба — в состоянии крайнего возбуждения. Наш друг Костя Казанский, который перевел твои песни и пел их, — артист, очень популярный в Болгарии, позже вынужденный уехать из своей страны, — с любовью занялся аранжировкой. Приглашены лучшие: Клод Пави — гитара и Пьер Морейон — бас. Вы записываете двадцать две песни. Звукооператор Робер Прюдон работает точно и талантливо. Впервые твой голос не заглушается оркестром, а даже наоборот, гитары подчеркивают твой особый речитатив, и проигрывши удивительно подходят к словам. Эти музыканты, не зная ни единого слова по-русски, аккомпанируют так, как если бы они сами пережили все, о чем ты поешь. Они все поняли.

Мы проводим несколько дней, не выходя из студии. Это настоящее счастье. Редко твое воодушевление до такой степени передавалось всем остальным. Вероника — Костина жена, певица с волнующим глубоким голосом, — тоже здесь, мы по очереди выполняем обычную работу поклонниц — подаем кофе, бегаем за сэндвичами и сигаретами и всегда оказываемся под рукой, чтобы аплодировать удачно записанной песне. Работа у вас тяжелая, но такая приятная, что эти несколько дней пролетают галопом, и долгожданная пластинка наконец готова. Фотографии на внутренней стороне обложки были сделаны во время записи. Ты и Костя — оба бородатые — похожи на потерпевших кораблекрушение. Глаза у вас покраснели от усталости, но вы блаженно улыбаетесь. Тексты перевела наша подруга Мишель Кан, она десять лет жила в СССР и знает все твои песни. Мы воспользуемся этими переводами, чтобы через некоторое время устроить твой сольный концерт в Элизе-Монмартр. К нашему крайнему удивлению, этот зал, представлявшийся нам слишком большим, потому что мы никак не рассчитывали, что народ повалит толпами, оказался вдруг тесным. Здесь собралась вся советская колония Парижа с женами и детьми и довольно много студентов, изучающих русский. Но что самое удивительное, сюда пришли и обычные зрители, быть может привлеченные русским именем на афише. Мы так никогда и не узнаем, кто они, но, судя по аплодисментам, концерт им понравился.

Я поднимаюсь на сцену вместе с тобой и попадаю в пятно света, пока читаю французский перевод твоих песен. Потом мое световое пятно исчезает, и видно только тебя. Меня всю трясет. Я страшно волнуюсь за тебя и чувствую, что мы так близки с тобой сейчас! Впервые мы вместе на сцене. Ты играешь, не жалея сил, и, когда после многочисленных исполнений на бис ты скрываешься за кулисами, у тебя в кровь сбиты пальцы.

Потом ты поешь несколько песен в большом концерте в Сен-Дени. В другой раз ты участвуешь в спектакле на большом помосте на празднике газеты "Юманите". Здесь творится что-то невообразимое. Двести тысяч человек расположились на газоне. Все ждут рок-группу, и, когда ты появляешься один с гитарой, толпа свистит. Но ты начинаешь с "Охоты на волков", и твой голос гремит через усилители. По толпе проносится короткий шепот, и через несколько минут наступает внимательная тишина, лишь в отдалении шумит ярмарка.

Закончив выступление, ты кланяешься под гром аплодисментов и идешь в глубину сцены, ко мне. У тебя за спиной волнуется человеческое море. Ты доволен и с гордостью говоришь мне: "Я мог бы петь сколько угодно — им было интересно слушать меня".

Максим Лефорестье — наш друг, который познакомился с тобой во время поездки в СССР и написал предисловие к твоей первой пластинке, — приглашает нас пообедать к себе домой. С лукавым видом взяв гитару, он поет нам твои песни по-французски. Он перевел тексты, чтобы устроить нам сюрприз. Ты тут же начинаешь работать и, многократно повторяя слова, наконец вполне сносно произносишь французский текст. С твоим слухом и чувством ритма ты быстро выучиваешь французский настолько, чтобы объясняться без переводчика. Работа Максима Лефорестье не пропадет даром, и твоя третья пластинка, записанная с Париже при помощи моего старого приятеля Жака Уревича, будет начинаться с каждой стороны с песни на французском.

Твои концерты в США будут еще более удивительными. Ты даже произнес несколько фраз на ломанном английском к великой радости американских зрителей.

В Москве ты часто вынимаешь свои пластинки из укромного места, где они спрятаны (потому что их у нас тащили десятками), раскладываешь их на ковре, долго рассматриваешь, иногда ставишь какую-нибудь на проигрыватель, и глаза у тебя подергиваются грустью:

— Как это здорово сделано, почему нельзя так же хорошо записывать здесь, чтобы публика могла слушать меня с этим качеством звука? Почему я не могу выбирать песни без цензоров, ничего не опасаясь? Почему?

Когда слушаешь сотни написанных тобой баллад, маршей, лирических тем, приходишь в негодование при мысли, что ты так никогда и не был признан как композитор. Официальные лица не считают тебя таковым — вот и все. И то же самое — со стихами. Не окончив консерваторию, ты не можешь быть композитором. Не окончив литературный институт, ты не можешь считаться поэтом. Не имея печатных работ, ты не можешь вступить в Союз писателей. И так далее. Порочный круг замыкается с безжалостной логикой. Человек, самый известный в СССР, ты сидишь на полу и грустно разглядываешь три конверта с пластинками, разложенные на ковре в большой комнате.

На улице, где находится театр "Эберто", стоит небольшое светлое здание. Здесь за фасадом прячутся ночной ресторан и небольшая гостиница. На втором этаже уже много лет живет человек, который относится ко мне как к дочери, — русский цыганский барон в Париже Алеша Дмитриевич. Этот титул он, возможно, присвоил себе сам, но величавость и царственная манера держаться у него соответствующие. И потом, он как никто умеет заставить рыдать свою гитару, голос его, кажется, прорывается из самой глубины человеческого страдания и неизменно очаровывает ночных красавиц. После бесконечных праздников, которые мы устраиваем все эти месяцы, пока играем в "Трех сестрах", все друзья семьи Поляковых проводят ночь у Жана Пиона — владельца ресторана, которого мы с нежностью называем нашей пятой сестрой. Алеша, влюбившись в атмосферу этого дома, поселился здесь в маленькой комнатке на втором этаже.

Однажды мы приходим сюда днем. Дверь долго не открывают, потому что это необычное время для ночных завсегдаев. Через несколько минут все же щелкает замок и дверь открывается. Хрупкая фигурка отходит в тень и исчезает. С прошлой ночи остался такой сильный запах пепла, пота и духов, что нечем дышать. Подруга Алеши — молодая светловолосая и бледная француженка, которая из любви к нему проводит ночи, переодевшись в цыганку, — говорит приглушенным голосом: "Он сейчас спустится, подождите здесь, наверно очень тесно".

Ты сгораешь от нетерпения. Ты уже давно слушаешь его пластинку, которую я привезла в Москву. Ты знаешь все связанные с ним истории и анекдоты: ночи, проведенные им, моим отцом и Кесселем в кабаре, советы Алеши: "Никогда не пей водки, когда нюхаешь кокаин", — мне было в ту пору тринадцать лет. Когда у Дмитриевичей украли все их богатства и я дала им денег, они приняли мой подарок молча — цыгане берут деньги как должное.

Алеша спускается, отрывистый кашель предваряет его появление. В темноте кабака лишь солнечный луч просачивается с улицы и танцует в табачном дыму. Ты стоишь в профиль ко мне, я вижу твои прозрачные глаза, слышу, как ты дышишь. В тот момент, когда ноги Алеши попадают в луч света, начинается как будто замедленная съемка. Потом мы видим его лицо, натянутую на скулах смуглую кожу, исполованную тысячью морщин, которые разбегаются от глаз — черных, блестящих и пронзительных. Глядя в упор друг на друга, вы беретесь за гитары — так ковбой в вестернах вынимают пистолеты — и, не сговариваясь, чудом настроенные на одну ноту, начинаете звуковую дуэль.

Утонув в большом мягком кресле, я наблюдаю за столкновением двух традиций. Голоса накладываются: один начинает куплет, второй подхватывает, меняя ритм. Один поет старинный романс, с детства знакомые слова — это "цыганочка". Другой продолжает, выкрикивает слова новые, никем не слышанные:

*"...Я — по полю вдоль реки!
Света — тьма, нет Бога!
А в чистом поле — васильки
И дальняя дорога...*

Вы стоите совсем близко друг к другу, и теперь я вижу в полоске света два упрямых профиля с набухшими на шее венами. Потом вдруг — одно движение руки: стой, послушай... И жалуется гитара, и мы тонем в ее плаче. Солнце теперь светит с другой стороны, скульптурно вырисовывая ваши лица, потом и они уходят в тень, и видно лишь светлое дерево гитар и ваши такие разные руки, пальцы, рвущие струны. Уважение друг к другу, возникшее с первых минут знакомства, останется у вас на всю жизнь. В противоположность остальным членам семьи Дмитриевичей Алеша единственный ни разу не взял денег, которые ты швыряешь

безумными ночами направо и налево: на следующий день он возвращает тебе эти деньги, аккуратно запечатанные в конверт.

Однажды Алеша взял колоду карт и протянул ее мне: "Вытащи две. — И, посмотрев карты, сказал своим глухим голосом: — Туз червей, девятка пик — любовь, смерть..."

На нашем фото в рамке приколот червовый туз. Фотография так и осталась висеть на стене.

Мой отец, певший семь сезонов в опере Монте-Карло, чуть не спустил все свое состояние в казино — недалеко было ходить. Как он говорил, в случае проблемы с жильем мы можем поселиться прямо в казино, которое, по его мнению, уже отчасти принадлежало ему — столько он просадил там денег.

В одно прекрасное утро мы едем в Геную, где должны сесть на пароход. В Монте-Карло я хочу показать тебе это казино.

Я робко спрашиваю, можно ли войти посмотреть. Улыбающийся привратник отвечает, что можно даже сыграть. Это не входило в мою программу, но, перехватив твой умоляющий взгляд, я говорю:

— Ладно, пошли, но ты ведь знаешь, у нас мало наличных денег и поэтому мы будем играть символически.

Зал выглядит днем немного печально. Никого нет, кроме нескольких старичков, которые пришли попытать счастья. Я с нежностью думаю о моем отце, который, как и всякий уважающий себя русский человек, оставался игроком до последнего дня.

Мы берем жетоны и, не зная правил, — ты потому, что в СССР нет казино, я — потому, что всю жизнь избегала таких заведений из-за наследственной склонности к игре, — начинаем смотреть, как играют за разными столами.

На своем непонятном французском языке ты обращаешься к крупье: "Ставьте три". И бросаешь все свои жетоны на поле. Крупье ставит их на тридцать три, ты хочешь его поправить, повторяя: "На три". Я тебя удерживаю, он понял — на тридцать три — и уже запустил рулетку. Лицо у тебя напряжено, даже трагично — можно подумать, что речь идет о твоей жизни. Глядя на тебя, я вспоминаю выражение лица одного из героев Достоевского. Тебя внезапно захватила страсть к игре — прямо здесь, в этом неосвещенном зале, утром, с тремя играющими от скуки чистенькими старичками в качестве партнеров. У тебя это — первый раз, ты вошел в раж.

Шарик подпрыгивает, падает, еще немного катится — эти секунды кажутся тебе вечностью — и останавливается, наконец, на... тридцати трех.

Ты рычишь от восторга к удивлению присутствующих. Крупье сгребает жетоны и продвигает их к тебе. Ты протягиваешь руку, чтобы поставить всю эту кучу на другой номер, но я хватаю тебя за ремень и с силой тяну назад. Рассерженный, ты отбиваешься, но сил у меня много, и я вытаскиваю тебя из зала, уговаривая, что пусть этот ход лучше будет первым и последним, что это и так слишком шикарно — сразу выиграть столько денег в первый же раз. Кассир выдает тебе пачку разноцветных купюр, и ты выходишь из казино, держа выигрыш в руке, как букет цветов. Портье тебя поздравляет, ты счастлив, у меня отлегло от сердца.

В другой раз попытка заканчивается не так славно. Мы садимся в самолет цыплячьего цвета и летим в Лас-Вегас. До тебя невозможно дотронуться — бьет электричеством. Путешествие и так удивительно, но Лас-Вегас — это шоу, рекламы, пустыня, игра, и ты гредишь о нем с самого приезда в Соединенные Штаты. В аэропорту мы встречаем людей несвежего вида, помятых, небритых, вконец проигравшихся, и только женщина в клетчатых шортах рассказывает всем вокруг, как она выиграла состояние. Может быть, ей просто платят за рекламу.

Сорок пять градусов в тени. После утомительного туристского дня мы стоим перед игровыми автоматами. Здесь их можно видеть повсюду — даже в туалетах. Мы решаем поставить каждый по сто долларов, и, чтобы не портить тебе удовольствия, я уйду в другой конец зала играть в лотерею. Я выигрываю и издали смотрю на тебя. Ты стоишь возле "Блэк Джека": тасует карты очаровательная банкирша, ты зачарованно смотришь, как они мелькают у нее в руках. Успокоившись, я отхожу и останавливаюсь возле одного из автоматов. Очень быстро я проигрываю и возвращаюсь к "Блэк Джеку". Тебя здесь нет, на твоём месте стоят двое японцев, может быть отец с сыном, и делают большие ставки. У них маленький чемодан, набитый долларами, и они оттуда всю вынимают пачки денег. Я ищу тебя глазами в толпе, но не нахожу. Я иду в бар освежиться и собраться с мыслями, завязываю разговор с двумя предприимчивыми француженками, которые путешествуют по Америке на машине, мы довольно долго беседуем, потягивая коктейли. Уже очень поздно, и я брожу от стола к столу и немного играю. Меня

это больше не забавляет, у меня остается еще почти шестьдесят долларов, и я снова направляюсь к "Блэк Джеку". Мне любопытно посмотреть, как там дела у японцев. Издали я вижу тебя. Рядом с тобой играет старший японец с сосредоточенным лицом, а сын вынимает деньги. У тебя в лице ни кровинки; как только я подхожу, ты молча протягиваешь руку и, положив в карман мои доллары, говоришь мне сквозь зубы:

— Ты вовремя пришла, я как раз собирался продолжать игру, потому что нашел на полу пятидесятидолларовую бумажку, но только что опять ее потерял.

Я верю тебе — с тобой всегда происходят невероятные истории. Я чувствую себя немного не в своей тарелке. Мне не нравится, как ты настроен, но, опять же не желая портить тебе удовольствие, я отправляюсь в номер спать, сжав на прощанье твою руку в знак поддержки.

Наш номер неслыханно роскошен — мебель потрясающей красоты, тяжелые бледно-зеленые шторы, ванная комната для кинозвезды и гигантская кровать, на которой набросана куча подушек. Я с наслаждением залезаю под одеяло и выключаю свет. Но как только я вытянула уставшие ноги, свет опять включается, ты буквально бросаешься на меня и с бешеными глазами и блестящим от пота лицом требуешь денег:

— Те, которые ты прячешь, — деньги на путешествие!

Я отползаю на другой край кровати. Ты обегаешь ее и кричишь срывающимся голосом, чтобы я отдала тебе деньги. Ты хватаешь меня за плечи — ты, который ни разу не поднял на меня руку, даже в худшие моменты пьяного бреда, — и принимаешься меня трясти. Ты вытаскиваешь меня из постели и подталкиваешь к шкафу, где я прячу сумочку. На насилье я реагирую соответственно: вынув сумочку, я швыряю тебе в лицо все ее содержимое. Ты подбираешь пачку долларов и исчезаешь, хлопнув дверью. Я остаюсь в обалдении. Я ведь знаю, что ты не пьешь, и все-таки твоя ярость меня пугает. Когда я видела у тебя это выражение лица?..

Я натягиваю рубашку, джинсы, бросаюсь к лифту — я вспомнила: Монте-Карло, рулетка, номер тридцать три, букет купюр! Но уже поздно. Ты сидишь убитый, с опущенными руками. Рядом с тобой невозмутимые японцы укладывают зеленые пачки денег. Ты все проиграл. Все деньги на путешествие! В несколько минут тебя утопило настоящее сумасшествие азарта.

Рано утром в аэропорту мы и сами сидим проигравшиеся, помятые, мрачные, держа в руках наше единственное богатство: два билета обратно в Лос-Анджелес. Нас приглашают на посадку. Цыплячьего цвета самолет взлетает. Недалеко от нас дремлют, расслабившись, японцы: в эту ночь им повезло.

Мы приезжаем в Монреаль в самый разгар Олимпийских игр. Моя подруга Диана Дюфрен размещает нас у себя, кормит и таскает нас ко всем своим друзьям — музыкантам, поэтам-песенникам, певцам. Канадцы — такие веселые, такие гостеприимные люди, что чувствуешь себя у них как дома. Жиль Тальбо предлагает тебе записать пластинку, и ты тут же начинаешь думать о макете обложки, аранжировке, музыкантах, которые могут тебе аккомпанировать.

Единственная грустная нотка за время, проведенное в Канаде, — это футбольный матч, в котором принимает участие сборная СССР. Тебя пригласили футболисты. Мы сидим на трибуне, а сзади канадские украинцы в течение всего матча громко скандируют антисоветские лозунги. Тебе больно, ты страдаешь от этой ненависти, с которой вы сталкиваетесь повсюду в мире. Ты считаешь несправедливым, что спортсмены или артисты вынуждены расплачиваться за границей за политику с позиции силы, которую проводит правительство. Расстроившись, мы уходим со стадиона, не дожидаясь конца матча.

К счастью, на следующий день мы прекрасно проводим время у Люка Пламандона — поэта-песенника. У него небольшой деревянный дом на берегу озера, бобры строят плотину, и мы наблюдаем, сидя в байдарках, как они суетятся и снуют туда-сюда. После плотного ужина по-канадски ты поешь, и вечер заканчивается тем, что мы в первый и последний раз в жизни пробуем марихуану. Наши хозяева протягивают нам сигарету, мы сомневаемся, но друзья уверяют нас, что это совсем не противно и что особенно приятно после нескольких затяжек слушать музыку. Мы курим по очереди, ты вздыхаешь от удовольствия, мы слушаем музыку, я различаю каждый инструмент — впечатление такое, что весь оркестр играет у меня в голове. Но очень скоро я не могу больше бороться с усталостью и засыпаю. Последнее, что я вижу, — это твое удовлетворенное лицо. Однажды вечером мы будем чувствовать примерно то же самое во время одного рок-концерта. Семьдесят тысяч человек, скучившиеся вокруг нас на трибунах и на газоне стадиона, курят траву. У нас кру-

жится голова, и от усилителей, работающих на полную мощность, дрожит все внутри. Голубоватый столб дыма поднимается к небу, у каждого в руке горит зажигалка в знак братства. Эмерсон, Лейк и Пальмер в энный раз исполняют на бис песни, и ты вдруг принимаешься петь во все горло. Наши обалдевшие соседи привстают посмотреть, откуда исходит этот громахающий голос, подхватывающий темы рока, и, заразившись твоим энтузиазмом, все начинают орать. На стадионе мы почти оглохли, и еще долго потом болела голова, зато отвели душу.

Несколько дней спустя мы едем к Андре Перри в сопровождении нашего верного Жилия Тальбо, который небрежно ведет машину, одной рукой держа руль своего музейного "роллса". Мелькающий за окном пейзаж нам знаком: ничто так не напоминает север России, как Канада, — те же березовые рощи, те же озера, то же светящееся небо. Мы подъезжаем к чуду современной архитектуры — дому из стекла. Он прекрасно вписывается в березовую рощу и выходит на небольшое круглое озерцо, которое лижет ступеньки веранды. Полная тишина царит в студии. Там ты будешь записывать свою пластинку. Андре Перри — волшебник звука, лучшее ухо Американского континента. У него самое сложное оборудование, какое только есть, и мы просто потрясены звукооператорским пультом: восемнадцать дорожек (это семьдесят шестой год!) — лучше не бывает. В зале полно инструментов, расставлены широкие диваны, но особенно поражает вид сквозь стены — кажется, что находишься прямо в лесу. На озере плещутся дикие утки, солнце отражается в меди инструментов. Андре Перри подходит к нам, тепло пожимает тебе руку, потом представляет нам музыкантов. Они все очень молоды, очень красивы — длинные волосы обрамляют романтические лица. "Все похожи на Христа", — говоришь ты по-русски. И правда, у них у всех озаренные лица, когда они начинают играть. Ты работаешь с огромным удовольствием, легко, а между тем в пластинку вошли тяжелые песни — "Спасите наши души", "Прерванный полет", "Погоня", "Купола" и особенно "Охота на волков" — крик страха и ярости.

*Рвусь из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня — опять, как вчера, —
Обложили меня. Обложили!
Гонят весело на номера!*

*Из-за елей хлопочут двустволки –
Там охотники прячутся в тень.
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.*

*Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников – матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.*

*Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука!
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.*

*Волк не может нарушить традиций.
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали – "Нельзя за флажки!"*

*И вот – охота на волков. Идет охота!
На серых хищников – матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.*

*Наши ноги и челюсти быстры.
Почему же – вожак, дай ответ –
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем через запрет?*

*Волк не может, не должен иначе.
Вот кончается время мое.
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся – и поднял ружье...*

*Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников – матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.*

*Я из повиновения вышел
За флажки – жажда жизни сильней!
Только сзади я радостно слышал
Удивленные крики людей.*

*Рвуть из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня – не так, как вчера!
Обложили меня! Обложили!
Но остались ни с чем егеря!*

*Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников – матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.*

Охотники остаются с пустыми руками. Из-за этого текста на Таганке запретят спектакль "Берегите ваши лица".

Любовь и нежность к своему народу, который столько страдал и страдает, усиливаются у тебя от богатства, роскоши и легкости нашей с тобой жизни здесь. Каждый раз ты хочешь успокоить свое чувство вины перед братьями, лишенными свободы, и делаешь мне подарок. Ты считаешь, что деньги, которыми ты распоряжаешься, должны все же возвращаться ко мне в виде подарка, поскольку тебе кажется, что свободой, которой ты теперь пользуешься, ты обязан мне. Я знаю, что это совсем не так: есть твой талант, любовь публики. Но не стоит и пытаться тебя разубедить, и потом – ты так любишь делать мне подарки!..

Как только мы возвращаемся в город, ты ведешь меня в лавочку, принадлежащую высокому старику еврею с вытянутым худым лицом, длинными белыми руками, ласкающими старинные сокровища на темно-синем бархате прилавка. На русском языке прошлого века, на каком больше никто не говорит в наше время, он рассказывает нам историю этих редкостей – египетских бус из голубого стекла, средневековых колец, тысячелетнего янтаря, греческих печаток, римских монет. Я выбираю голубые бусы. Растроганный нашим восхищением, почтенный раввин – а он еще и раввин, – благословляет нас и дарит нам два византийских креста из резного серебра, потом вынимает три небольших позолоченных кубка и наливает нам по капле вишневки, которую пьют во всей Центральной Европе. Ты лишь пригубил свой кубок, и мы уходим, а старик еще долго машет нам на прощанье и говорит тебе вслед: "Поклонись от меня матушке-Родине".

Калу Римпоче – это так красиво звучащее имя немедленно тебя заинтересовало. Я записываю пластинку с группой друзей-музыкантов. Все они буддисты и несколько лет назад очень помогли мне, когда мой старший сын связался с хиппи.

Весь день они говорили о приезде во Францию великого тибетского учителя. Для них он все равно что папа римский для католиков. Я рассказываю тебе по телефону, как счастливы мои друзья от одной мысли при возможности повидать этого человека. Ты мне говоришь почти серьезно, что вдруг он сможет помочь и тебе. Я сама в это не особенно верю, но, стараясь использовать любую возможность, пусть даже колдовство, обещаю тебе, что, как только ты приедешь в Париж, он тебя примет.

На первом же ужине у нашего друга художника Миши Шемякина, тоже большого любителя выпить, разговор крутится вокруг гуру и других персонажей, которые обладают способностью помогать несчастным бороться против зеленого змия. Шемякин, очень склонный к мистике, обязательно хочет как можно быстрее попасть к мудрецу. Мне удастся добиться приема. И вот мы уже в небольшом павильоне, украшенном изображениями святых. На небольшом возвышении сидит древний старик. Его морщинистое и доброжелательное лицо обращено к нам. Как нас научили мои друзья, мы входим, кланяясь. Я просто наклоняю голову, а Шемякин бросается на колени и почти ползком приближается к старцу. Ты смотришь на меня и, не особенно понимая, что делать, неловко согнувшись пополам и опираясь одной рукой в пол, ковыляешь к учителю. Я с трудом сдерживаюсь от смеха. Мне кажется неуместным засмеяться в присутствии такой важной персоны — и напрасно, потому что сам он не скрывает улыбки и делает нам знак садиться перед ним. У его ног сидит молодая француженка, завернутая в красивую оранжевую ткань, которую носят буддистские монахини. Тихим, но твердым голосом человек произносит приветствие. Девушка переводит и спрашивает, чего хотят иностранцы. Я беру слово, потому что вы с Шемякиным не говорите по-французски.

Я объясняю, что вы не можете справиться с наклонностью к выпивке и надеетесь на помощь мудреца. Девушка переводит. После некоторого размышления Калу Римпоче рассказывает притчу. Вот этот рассказ, переведенный с тибетского на французский, а потом на русский:

”Однажды молодой монах проходил перед домом вдовы. Она поймала его, заперла и сказала: ”Я не выпущу тебя, пока ты не проведешь со мной ночь, или не выпьешь вина, или не убьешь мою козочку”. Молодой монах не знает, что отвечать: дав обет безбрачия, он не может провести с ней ночь. Дав обет трезвости, он не может пить, и уж тем более он не

может покуситься на чью бы то ни было жизнь. Но он должен выбрать. И после долгих раздумий он решает, что выпить вина — наименьший из этих грехов”. В этот момент Калу Римпоче раздражается лукавым смехом, смотрит нам прямо в глаза и заключает: ”Он выпил вина, потом провел ночь с женщиной и убил козу”.

Я смеюсь вместе со всеми. Как это просто и мудро! По вашим взволнованным и напряженным лицам видно, как точно он попал в цель. Но что меня удивило больше всего — вы оба не пили после этого почти целый год.

Миша, Рива, Дороте — эти имена мы произносим каждый день, когда ты в Париже. Шемякины — семья художников в изгнании. Квартира их похожа на лабиринт. Она заполнена любопытными животными. Самое любопытное из них, несомненно, знаменитый Михаил Шемякин — хозяин дома, одетый во все черное, со всегда замкнутым, очень бледным флорентийским лицом — таким худым, что оно и в фас напоминает профиль. Рива — миниатюрная женщина с ярко-рыжими волосами. Она ходит в цветастых платьях, подчеркивающих ее более чем щедрые формы. Ее живые и добрые глаза неустанно следят за порядком в доме. Дороте — отчаянная девчонка, вся в булавках, велосипедных цепях и других аксессуарах панков — приводит в восхищение родителей.

Это трио так и блещет талантами. В каждый наш приход мы открываем все новые богатства. Миша эксплуатирует свою жену, она делает все фоны его картин, что и составляет главную их ценность. Когда Рива заканчивает дела на кухне, уборку и свой квадратный метр фона картины, она тоже может наконец рисовать или лепить. И все она делает с удивительной тонкостью и очарованием. Дороте, несмотря на очевидное влияние отца, уже владеет собственным почерком: она делает очень маленькие картинки — всего несколько квадратных сантиметров, — но дома с нее строго спрашивают, и скоро она выставляет серию маленьких забавных котов с бандитскими рожами, которые производят настоящий фурор в Нью-Йорке.

Ты понакомишься с Шемякиными в Париже. Эта семья уехала из Ленинграда после неописуемых перипетий, но в полном составе. Твои отношения с Мишей окрашены тайной. Вы запираетесь у него в мастерской и часами сидите там. Он обожает тебя фотографировать, записывать, слушать — этот человек живет только прошлым, влюблен в твою современ-

ность, он верующий, даже мистик, а за тобой я не замечала склонности к религии. Он задумчив и часами может рассматривать свои многочисленные коллекции, он фанатичен и скрытен, ты — полная ему противоположность. Единственная ваша точка соприкосновения, за исключением таланта, — это любовь к диким попойкам.

Сколько раз Рива, Дороте и я, охая под тяжестью, втащивали вас обоих в квартиру напротив Лувра. Собаки, не переносящие запаха алкоголя, яростно лают. Попугай ужасно ругается. Мы не знаем, смеяться нам или плакать, потому что, насколько ораторские способности исчезают у тебя, как только ты выпил, настолько Миша любит в этом состоянии декламировать длинные нецензурные монологи. И его, обычно изображающего из себя мрачного и молчаливого принца, невозможно заставить замолчать. Хуже того, у него появилась привычка нам звонить в этом состоянии. Много раз я была вынуждена выслушивать длинные пулеметные очереди ругательств — если положить трубку, он будет звонить всю ночь. Я видела иногда, как ты засыпаешь около телефона, но не кладешь трубку, чтобы дать своему приятелю выговориться. Пока вы пьете вино, расположившись в углу, мы с Ривой, иногда и с Дороте болтаем на кухне и едим что-нибудь вкусное. Жизнь прекрасна, жизнь печальна. Мы и не догадываемся, что это — спокойное и счастливое время.

Через несколько лет ничего этого не будет. Только я осталась в Париже. Шемякин, за которым в восьмидесятом году гонялась налоговая служба, занял у меня денег, чтобы выкупить матрицу литографии, хранимую в качестве обменной валюты его издателем. Он уезжает в Нью-Йорк, увозя с собой все состояние семьи. Дороте и Рива переселяются в Грецию — там много света, красивых моряков, и жизнь там недорогая.

Я больше так и не увижу Мишу, что же до Ривы и Дороте, мы встречаемся иногда, когда я приезжаю в Грецию. Они работают, живут весело, хотя и очень бедно. Девчонка с велосипедной цепью превратилась в крупную сильную девушку, она даже иногда работает каменщицей. Мы едим муссаку, говорим о прошлом и всегда то смеемся, то плачем...

Восемьдесят седьмой год. Я получила американский банковский чек и два очень красивых альбома живописи, подписанных Шемякиным.

После восхитительного путешествия на Таити мы направляемся в мировую столицу кино. Погода мягкая, внизу под

нами в туманной дымке виднеется Лос-Анджелес. Мы находим дом Бака Генри — человека-оркестра, актера, сценариста и режиссера — и проводим здесь целый день. Сидя в бассейне, мы видим, как приходят двое наших старых друзей — Милош Форман и только что эмигрировавший в США Миша Барышников в сопровождении красивой блондинки. Ты счастлив снова увидеться с Мишей. Вы совсем как мальчишки резвитесь в голубой воде бассейна. Присутствие молодой девушки вас подзадоривает. Милош рассказывает о своем будущем фильме "Волосы" и приглашает нас посмотреть первые репетиции в Нью-Йорке.

Вечером мы едем на прием в одно суперсовременное здание на Сансет-бульвар. Сюда приходят показаться в компании известных людей. Здесь необходимо вести светские разговоры и расхаживать с отсутствующим видом. Чем больше интригуешь других, тем лучше. Небесные создания болтаются по комнатам, небрежно извиняясь, когда им случается ненароком побеспокоить уединившуюся парочку. Ты растерян, и очень скоро тебе надоедает изысканное общество. Ты с досадой говоришь мне:

— Все эти девицы похожи одна на другую. Они красивы, но в них нет души. Пойдем отсюда.

Ты раздражен. Впервые в жизни ты оказываешься в компании, где никто тебя не знает. И только хозяин дома вежливо спрашивает нас, не нужно ли нам чего-нибудь, предлагает нам попробовать угощение, осмотреть дом, поплавать в бассейне. *Help yourself* — самая что ни на есть американская фраза. Поверхностная щедрость. Тебе же хотелось чуть больше душевного тепла. Мы покидаем этот музей восковых фигур страшно разочарованными и возвращаемся к друзьям, у которых живем. Здесь атмосфера совсем иная. Дик Финн — польский эмигрант, виртуоз в электронике. Его собранный из панелей дом неказист с виду. Но в нем шумно и не стихает смех. Беленькая собачка — этот мягкий меховой комочек, который каждое утро влетает к нам в комнату, изо всех сил виляя хвостом, — встречает нас громким лаем. В доме уже полно народу. Все ждут, когда придешь ты и будешь петь. Ты доволен — ты снова чувствуешь себя как дома.

На следующий день Майк Медовой, продюсер, приглашает нас к себе в студию — MGM. Здесь стоит особенный запах, свойственный всем съемочным площадкам, — запах пыли и клея. Суется рабочие сцены и осветители. На разрушенной улице из вестерна ты демонстрируешь нам дуэль на пистоле-

тах, которой заканчивается один из твоих любимых фильмов — "Полдень". Нам показывают огромного Кинг-Конга, у него лицо ходит ходуном, он в отчаянии вращает глазами, шевелит руками и, кажется, просит о помощи. Мне тяжело на него смотреть. Продюсер Дино де Лаурентис подходит к нам, чтобы пожать нам руки (несколько лет назад я снималась у него в Риме). Потом бесшумная электрическая тележка везет нас по улочкам городка, построенного прямо в студии. Мы ждем перед большой дверью, когда погаснет красный свет, потом нас впускают на съемочную площадку фильма "Нью-Йорк, Нью-Йорк". Лиза Минелли и Робер де Ниро репетируют сцену в ночном кабаке. Оба напряжены и сосредоточены. Де Ниро играет на саксофоне, и мы видим, что он действительно овладел этим трудным инструментом. Лиза Минелли, с ее огромными, во все лицо глазами и накладными ресницами, бросает на тебя шпотоядный взгляд. Мы присутствуем при съемке. Работа идет полным ходом, и, не желая никого беспокоить, мы потихоньку уходим. Майк Медовой говорит нам шепотом:

— Сегодня я организую для вас вечер.

Мы с благодарностью принимаем приглашение. Я вижу, что ты польщен — тебя пригласили почетным гостем. Вернувшись домой, ты начинаешь перебирать водолазки, брюки, куртки — одежду, подходящую случаю, — и выбираешь бледно-голубой цвет. Ты загорел и в отличной форме. Глаза у тебя блестят от возбуждения. Меня это тоже радует, тем более что я ни о чем не беспокоюсь — тебе только что вшили эспераль, и ты ничем не рискуешь при виде бутылки. Этот невидимый барьер делает тебя абсолютно свободным, проблемы больше не существует. На несколько месяцев ты — счастливый непьющий.

Ярко освещенный парк окружает дом в колониальном стиле. На веранде, в комнатах, возле бассейна собрался весь Голливуд. Нас поражает красота этих людей: длинноногие женщины с потрясающими волосами, золотистой кожей и крепкими телами под легкими платьями. Крупные, гибкие улыбающиеся мужчины похожи на хищников в поисках добычи. Ты меня толкаешь локтем и как мальчишка зачарованно произносишь вслух имена актеров: Рок Хадсон, Пол Ньюмен, Грегори Пек...

Хозяин дома подзывает тебя и просит тишины. Все собираются в кружок возле вас и слушают, что рассказывает Майк. Он говорит, что ты — советский актер, поэт, певец с ис-

ключительным голосом, а я вижу, как ты волнуешься. Сидя почти у твоих ног, тебе улыбается Лиза Минелли. Ободренный ее взглядом, ты с места в карьер начинаешь первую песню. И тут же вежливо-внимательные лица становятся напряженно-серьезными. Из сада, от бассейна, с террасы идут люди, словно их тянут за невидимую ниточку. От твоего голоса их бросает в дрожь. Женщины невольно прижимаются к своим спутникам, мужчины курят. Исчезает небрежность манер. Они не понимают слов, но масок не осталось. Вместо светских полуулыбок — лица. Некоторые даже и не пытаются скрывать своих чувств и, закрыв глаза, отдались во власть твоего крика. Ты исполняешь последнюю песню, и воцаряется долгая тишина. Все недоверчиво смотрят друг на друга. Все они в плену у этого человечка в голубом. Лиза Минелли и Робер де Ниро задают тон, выкрикнув:

— Потрясающе! Невероятно!

Все хотят пожать тебе руку, обнять тебя, высказать свои чувства. Я потеряла тебя в толпе этих высоких мужчин и женщин. За час ты завоевал, может быть, самую трудную публику, состоящую лишь из профессионалов кино, избалованных славой гораздо больше тебя.

На следующий день в университете зал набит битком: здесь собрались студенты, изучающие русский язык, русскую литературу и историю и жаждущие увидеть наконец поэта, о котором столько слышали. Ты не обманешь их ожиданий. Еще не остыв после вчерашнего триумфа, ты начинаешь свой первый концерт в США двухминутной речью на английском языке. Открыв рот от изумления, я слушаю, стоя в кулисах. Когда ты успел выучить эти слова? Ты мельком смотришь на меня и улыбаешься в зал:

— Это был небольшой сюрприз, который я приготовил для вас сегодня ночью.

И как обычно, без перехода, начинаешь с "Охоты на волков".

После двух изматывающих часов концерта ты уходишь со сцены весь мокрый, пальцы сбиты в кровь, с гитары свешиваются две лопнувшие струны, но лицо у тебя сияет:

— Они все поняли. Сегодня был хороший зал!

В аудитории, которая служит тебе гримборной, тебя ждут ректор университета, преподаватели русского языка и два человека из консульства СССР в Лос-Анджелесе. Эти двое еще не знают, от какой печки им танцевать. Успех бесспорный, и они просто счастливы — как, впрочем, и вся остальная

публика — побывать на твоём концерте. Для них это невероятная удача, потому что в СССР, где они бывают редко, достать билет в Театр на Таганке или на твой концерт почти невозможно. И потом, ты спел очень широкий репертуар — тридцать самых популярных песен, плюс несколько ещё неизвестных в Москве. Но именно это их и настораживает.

Как им теперь себя вести? Поздравить и выразить свою радость? Или пожурить тебя за содержание некоторых песен? От этих сомнений у них все время меняется выражение лица. "Если он здесь, если он свободно поет, если у него такой уверенный вид, значит, у него есть прикрытия, у него наверняка имеется особое распоряжение. Кто знает, может быть, сам Брежнев дал ему зеленую улицу? Мы не получили никакого сигнала из посольства, — думают они, — нам известно, что он лишь сопровождает свою жену, больше ничего. Надо быть осторожными. Подождем официальной реакции". И, наскоро пожав тебе руку, они мгновенно испаряются. В каждом университете, где ты поешь, сценарий тот же. Восторги публики и осторожная сдержанность советских официальных лиц. В США тебя это забавляет. А по приезде в Москву ты откровенно хохочешь над таким осторожничанием. Все органы опеки, с которыми ты столкнешься, будут обезоружены твоим нахальством. Штампы всех стран, украшающие твой паспорт, выданный с единственным разрешением приехать ко мне во Францию, придется объяснять моими профессиональными и семейными делами — мне нужно было съездить на Таити познакомиться с детьми. Что же касается твоих концертов во всех этих странах — здесь ты будешь повторять в свое оправдание короткую, но многозначительную фразу: "Наверху знали". И каждый раз в худшем случае тебя могли лишь слегка пожурить, но всегда — осторожно. "Кто знает, — думали "они", — он, видимо, имел разрешение, иначе бы он не посмел". И, не рискуя перепроверить туманное "наверху знали", твои собеседники ни разу не решаются наказать тебя.

"Раз нельзя ничего, — говоришь ты, — то можно все". Надо только иметь смелость. Эта смелость была в тебе всю жизнь. И еще — тебя поддерживают любовь и восхищение стольких людей. Всенародное признание служит тебе щитом.

Мы возвращаемся в Нью-Йорк, где нас ждет Миша Барьшников. Он предоставляет в наше распоряжение свою квартиру.

Здесь ты всего лишь зритель. И мы ходим на концерты и шоу, выставки живописи и балет. Бродвей тебя поражает.

Мы обедаем гамбургерами, сосисками в тесте и пищей. Мы день и ночь ходим по городу, никому не известные и немного потерянные. Два дня подряд мы восхищаемся выставкой Кандинского в Гугенгеймском музее. Среди шоферов такси часто попадаются русские. Некоторые тебя узнают, не верят своим глазам, резко тормозят в самых неожиданных местах — и немедленно образуются пробки. Они зовут тебя в гости, хотят показать своим товарищам, послушать, как ты поешь. С большим трудом нам удается освободиться от их восторгов, пообещав им билеты на концерт.

Милош Форман знакомит нас со своей группой танцовщиков и певцов. Мы присутствуем на репетиции фильма "Волосы". Совершенство голосов, грация тел вселяют в нас неудержимое желание петь и танцевать вместе с ними. Вдруг вся танцующая группа застывает на месте — ты выскочил на середину зала и начинаешь отбивать бешеную четку...

Следующей ночью нас везут по Гудзону к старой барже, стоящей на якоре. Это — целый роскошный дом на воде, последний крик моды. Отсюда виден весь сияющий огнями Манхеттен. Дом украшен персидскими коврами и современной живописью, прямо на полу разбросаны шелковые подушки, громко играет музыка. Мы словно перенеслись на другую планету. Танцовщики неопределенного пола решают показать тебе один квартал. Я не хочу идти туда с вами, но ты соглашаешься оставить меня одну на барже, и мы снова пускаемся в лодке по темной и немного пугающей воде. Из ночных кабаков на набережной вырывается музыка.

Увидев меня в группе мужчин, вышибалы не хотят нас пускать: "Нам здесь баб не нужно!"

Большой ресторан, откуда странным образом доносятся звуки аккордеона, оказывается более гостеприимным. Мы входим, и я смотрю на тебя. По твоему лицу видно, как тебе отвратительна представшая перед нами картина. Тебя воротит от этих танцующих и обнимающихся мужиков. Ты хватаешь меня за руку и тянешь к выходу. Как только мы оказываемся на улице, к нам подходят два очень красивых крашенных мальчика. Их предложения не оставляют сомнений, и, совершенно выведенный из себя, ты отвечаешь ругательством сквозь зубы. Мы хватаем такси и уезжаем из этого квартала, чтобы никогда больше сюда не вернуться. К счастью, на следующий день у нас назначена встреча с Иосифом Бродским — одним из твоих любимых русских поэтов. Мы встречаемся в маленьком кафе в Гринвич-Виллидж. Сидя за чашкой чая, вы

беседуете обо всем на свете. Ты читаешь Бродскому свои последние стихи, он очень серьезно слушает тебя. Потом мы идем гулять по улицам. Он любит эту часть Нью-Йорка, где живет уже много лет. Становится прохладно, и ты покупаешь мне забавную шапочку — чтобы не надуло в уши. Улица, по которой мы идем, кажется безмятежно-спокойной, но Бродский говорит, что ночью здесь просто опасно... Продолжая разговор, мы приходим в малюсенькую квартирку, битком забитую книгами, — настоящую берлогу поэта. Он готовит для нас невероятный обед на восточный манер и читает написанные по-английски стихи. Перед тем как нам уходить, он пишет тебе посвящение на своей последней книге стихов. От волнения мы не можем вымолвить ни слова. Впервые в жизни настоящий большой поэт признал тебя за равного. Сколько же лет ты ждал этого? Ты всегда считался автором-исполнителем — в лучшем случае бардом, менестрелем. Но о твоей причастности к поэзии просто не было речи. Официальные поэты — Евтушенко и Вознесенский — с удовольствием общаются с тобой, но снисходительно улыбаются, когда ты приносишь им свои стихи: «Не стоит рифмовать "кричу — торчу"». Много раз они забирали с собой твои стихи, обещали их напечатать, но так ничего и не сделали.

Не имея необходимого количества напечатанных строчек, ты никогда не сможешь стать членом Союза писателей. А это, кроме почета, дало бы тебе массу преимуществ: внеочередное получение квартиры с рабочим кабинетом, льготы для организации поэтических вечеров, путевки в многочисленные дома творчества, где можно за очень умеренную плату жить месяцами в прекрасных условиях, а главное — ты получал бы визы для участия в концертах за рубежом.

К счастью, у тебя все это есть благодаря твоему таланту, любви к тебе людей и тому, что ты женат на француженке. Что до "почета" — вот ведь признал тебя за равного лучший из живущих ныне поэтов! У тебя в глазах счастливые слезы. Книгу эту ты будешь показывать каждому из гостей, она всегда будет стоять на почетном месте в твоей небольшой библиотеке. И я буду тихонько улыбаться, глядя, как ты часто перечитываешь посвящение, произведшее тебя в сан поэта.

Семьдесят четвертый год. Возвращение в СССР. Я еду одна по шоссе к Москве и понимаю, что, если сейчас что-нибудь сломается или лопнет колесо, одной мне не справиться: машина перегружена так, что напоминает скорее катер — нос задран

кверху, а багажник едва не касается земли. На крыше прочно привязана последняя парижская новинка — широченный, почти квадратный матрас "индивидуальная суперпружина" (теперь я смогу спокойно спать, как бы ты ни ворочался), и продавец мне поклялся, что в пластиковом чехле эта штука отлично доедет на крыше. Рядом со мной как раз остается место, чтобы положить карту, документы и корзинку с бутербродами и растворимым кофе. Сзади — чего только нет: посуда, специи, туалетная бумага, пластинки и кассеты, выключатели, штепсели, провода и всякая другая мелочь. Наконец мы въезжаем в свою квартиру. Шесть лет ожидания, но зато — какое счастье! Ночью я проехала польскую границу и только теперь начинаю понемногу успокаиваться. Женщины в форме — а это хуже всего! — заставили меня вытряхнуть из машины буквально все, открыли каждый пакет, распотрошили все белье, повынимали из конвертов пластинки.

И вот я в Бресте. Мы бросаемся друг к другу. Как давно мы не виделись! Я не могу наглядеться на тебя. Ты крепко обнял меня и будто боишься отпустить... В это время таможенники успели уже разобрать полбагажника. Взглянув на стоящие на асфальте кастрюли, чайники, абажуры, ты вспоминаешь о квартире и сообщаем мне, что воду еще не включили и окна пока не застеклили, поэтому нам придется немного пожить у друзей. Ничего! Все в порядке. Шесть лет ждали — что уж теперь! Еще подождем. И вообще я давно дала себе слово не расстраиваться по пустякам. Я беру себя в руки и энергично улыбаюсь...

Дорогой ты мне объяснил, у кого мы будем жить. Твой приятель женился на дочери одного высокопоставленного лица. Она, кстати, и вправду очаровательна, и твой приятель понастоящему в нее влюблен. Пара довольно любопытная: он — интеллигентный близорукий еврей, она — рослая белорусская девушка. Правда, она здорово избалована родителями, но зато — талантливая художница. Я сразу заметила, что она не как все. Она даже не замечала, что после обеда или праздничного застолья я всегда убирала и мыла посуду, наводила порядок в доме — она воспринимала это как должное. Кто-нибудь всегда делал это за нее (другие мои советские подруги, у которых никогда не было горничных, были счастливы, если я освобождала их от этой неприятной обязанности).

У этой молодой пары, естественно, великолепная, огромная квартира в центре, и они отдают нам целую комнату с ванной и всеми удобствами. Мы кладем наш матрас прямо

на пол, потому что они тоже только что переехали, и в квартире почти нет мебели. Мы быстро привыкаем к нашей новой жизни. Все так просто в этом микромире! Не надо ходить в магазины и стоять в очередях — здоровенная женщина в белом фартуке, которая могла бы сойти за английскую бонну, если бы не вес под сто килограммов, каждый день разгружает на кухне огромную корзину со свежайшими продуктами. Мы наслаждаемся такой беспечной жизнью в течение нескольких недель, потому что, конечно же, строительные работы в нашем с тобой доме не двигаются. Зато у наших друзей через короткое время все готово. Современная мебель привезена специально из Финляндии, расстелены великолепные ковры — свадебный подарок отца невесты, расставлены редкие книги — подарок семьи мужа. Если бы не купола старой церкви, которые видны из окна, можно было бы подумать, что мы где-нибудь на Западе.

Поскольку мне очень неловко жить за счет советской власти (приносимые каждый день продукты не только удивительны по качеству, но и покупаются за ничтожную часть их действительной стоимости в спецмагазине), я решаю ходить за покупками сама.

В первый же день я обалдеваю от выбора продуктов в ближайшем магазине. Сначала я даже подумала, что это случайный завоз или что директор устроил спектакль для ревизора. Но и через неделю выбор оставался таким же богатым. Каждый день я нахожу в магазине свежие яйца, колбасу, вполне приличное мясо на котлеты, копченую рыбу, даже крабов. СССР — самый крупный производитель крабов, но в магазинах не найдешь даже баночки — все идет на экспорт. Ты мне со смехом объясняешь:

— Просто этот магазин находится на бульваре, по которому каждый день ездит Брежнев, и поэтому он должен соответственно снабжаться на тот случай, если вдруг Генеральному секретарю захочется выйти что-нибудь купить.

Я не верю своим ушам:

— Но люди должны об этом знать и, наверное, обчищают полки в пять минут?

— Нет. В этот магазин ходят только такие люди, как мы, — те, кто живет в этих домах. У них и так огромные привилегии, а значит, им нет необходимости запасаться продуктами.

Я все-таки не совсем верю. Но и вправду, когда несколько месяцев спустя я снова захожу сюда, чтобы купить тебе

что-нибудь вкусненькое, продавщица, узнав меня, вынет из холодильника вожделенные баночки с крабами и скажет: "Для вас — другое дело".

И вот наша квартира наконец готова. Последний обед, поданный в восхитительном фарфоровом сервизе эпохи Екатерины II, действительно ни в чем не уступал царскому: голуби в сметане, икра и самые тонкие закуски. Нам всем было грустно: во-первых, приходилось расставаться, но главное, в то утро наша подруга сообщила нам с искаженным лицом: "Мой отец освобожден от должности и выведен из состава Политбюро".

Все мы знали, что для них золотые денечки закончились.

Из всех неудавшихся проектов больше всего ты расстраивался из-за нашей совместной пластинки. После долгих дискуссий фирма "Мелодия" принимает наконец тексты и музыку двенадцати песен, которые войдут в альбом. Темы в основном лирические. Это пести о любви, о войне, о Волге... Мы поем под оркестр, все очень красиво и без тени провокаций.

Мы записываем пластинку в большой аудитории. В противоположность кино здесь времени даром не теряют. В три захода дело сделано. Записывают целиком, без монтажа. Это очень тяжело, и ты срываешься, когда я ошибаюсь. Но мне и правда трудно: во-первых, петь по-русски, во-вторых, без остановок, и к тому же я очень волнуюсь, когда пою твои песни у тебя на глазах.

Мы понимаем, что, если пластинка выйдет, это будет своего рода официальное признание твоего статуса автора-композитора. И потом — мы довольно скромно живем на твою актерскую зарплату, так что лишние деньги не помешают. Но самое главное — это что мы впервые работаем вместе. И все наши мечты могут осуществиться, если пластинка выйдет: гастроль, концерты, спектакли, фильмы. Да все, что угодно!..

Охрипшая, измотанная, на последнем нервном пределе, я все-таки записываю все песни в положенное время. Я этим здорово горжусь, особенно после того, как музыканты стали аплодировать мне, стуча смычками по скрипкам, как это принято на концертах классической музыки. Ты доволен и записываешь свою сторону с ходу и в отличном настроении. Наша пластинка наконец готова. Звукооператоры тут же микшируют звук, нас фотографируют на конверт. И все-таки, несмотря на предпринятые меры, пленка тайком переписывается и моментально расходуется по рукам. И поэтому задолго

до предполагаемого выхода пластинки мы уже знаем, что песни страшно понравились публике.

Время идет, мы волнуемся и, устав от уклончивых ответов руководителей "Мелодии", добиваемся приема у министра культуры Демичева. Он принимает нас с улыбкой на устах, делает нам знак садиться и, сцепив свои пухленькие ручки, спрашивает, зачем мы пришли. Мы объясняем. Он берет телефонную трубку и, глядя нам прямо в глаза, говорит тоном, не допускающим возражений: «Соедините меня с директором "Мелодии"». И через минуту: "Послушай, почему до сих пор не вышла пластинка Влади и Высоцкого? Немедленно выпустить!"

Уезжаем мы довольные, но через два месяца пластинка все еще не выходит. Нам снова удается добиться приема. Мы наивно полагаем, что приказ не дошел по назначению. Впрочем, приказы никогда ни до кого и не доходили. Мы встречались с Демичевым много раз, и всегда разыгрывалась одна и та же комедия. Повелительный тон по телефону, безоговорочные приказы, шуточные сетования на трудное положение министра, которого никто не слушается, и все в том же духе...

Однажды утром ты говоришь мне с напускной небрежностью:

— Знаешь, Андрей хотел бы поговорить с тобой тет-а-тет.

Я немного удивлена, тем более что мы виделись с Тарковским несколько дней назад. Он — твой друг юности и один из поклонников. Я знаю его уже много лет. Этот невысокий человек, живой и подвижный, — замечательный гость за столом. Кавказец по отцу, он обладает удивительным даром рассказчика и поражает всех своим умением пить не пьянея. К концу вечера он обычно веселеет и почему-то каждый раз принимается распевать одну и ту же песню.

По твоему тону я понимаю, что речь идет о чем-то очень важном. Ты говоришь:

— Андрей готовит фильм, он хотел поговорить с тобой и, вероятно, пригласить тебя на пробы.

И тут на меня находит. Я не нуждаюсь в пробах, меня никогда не пробовали ни на одну роль, за исключением первого раза, когда я снималась в тринадцать лет у Орсона Уэллса. Но ты так долго уговариваешь меня не отказываться, что я соглашаюсь.

Андрей объясняет мне, что фильм "Зеркало" — автобиография. И он хочет попробовать меня в нем на роль своей

матери. Усы у него всклокочены больше, чем обычно, и он, заикаясь, пересказывает мне весь сюжет.

Через несколько дней мы с небольшой съемочной группой выезжаем в деревню. Это даже не пробы. Мы просто снимаем несколько кусков. Андрей подробно объясняет мне сцену: на пороге избы женщина долго ждет любимого человека. Становится прохладно, она зябко кутается в шаль, последний раз в отчаянии смотрит на дорогу и, сгорбившись от горя, уходит в дом.

Андрей делает мне комплименты, я довольна собой. Я возвращаюсь и рассказываю тебе, как прошел день. Мы начинаем мечтать. Если я снимусь в этом фильме, сразу решится множество проблем — у меня будет официальная работа в Советском Союзе, я смогу дольше жить рядом с тобой, и потом сниматься у Тарковского — это такое счастье!

Проходит несколько дней. Мы звоним Андрею, но все время попадаем на его жену, и та, с присущей ей любезностью, швыряет трубку. Я чувствую, что звонить бесполезно — ответ будет отрицательным. Но тебе не хочется в это верить, и, когда через несколько дней секретарша Тарковского сообщает нам, что роли уже распределены и что меня благодарят за пробы, ты впадаешь в жуткую ярость. Ты так зол на себя за то, что посоветовал мне попробоваться, да к тому же ответ, которого мы с таким нетерпением ждали, нам передали через третье лицо и слишком поздно... Тут уже мне приходится защищать Андрея. Наверное, у него слишком много работы, много забот, да и вообще у людей этой профессии часто не хватает мужества прямо сообщать плохие новости. Ты ничего не хочешь слышать. Ты ожидал от него другого отношения. И на два долгих года вы перестаете видеться. Наши общие друзья будут пытаться помирить вас, но тщетно.

Однажды, прилетев в Париж, мы сталкиваемся в аэропорту с Андреем — он как раз улетает в Москву. Эта неожиданная встреча на нейтральной территории позволяет вам наконец помириться. Андрей так просто и понятно объяснил причину своего отказа, что нам становится искренне жаль, что он не сделал этого сразу. Посмотрев пробы, он понял, что зрители будут отвлекаться от фильма, увидев на экране Колдунью, и взял на эту роль другую актрису.

Мы приезжаем в Москву, и снова Андрей сидит вечерами у нас за столом и, как обычно, распевает свою любимую песню про Садовое кольцо.

Однажды он попросил меня помочь ему уговорить Мар-

челло Матростройни согласиться на роль в фильме, сценарий которого он только что закончил. Но уговаривать Марчелло мне не приходится — он с радостью соглашается сниматься у Андрея. Целый вечер я перевожу, а они увлеченно обсуждают сценарий.

Увы! Фильм так и не будет снят. Еще один великолепный сценарий будет выброшен в корзину по соображениям цензуры.

Двадцать третьего декабря восемьдесят пятого года: наш автоответчик передает короткое драматическое сообщение. Тарковский тяжело болен, по мнению шведских врачей, ему осталось жить не больше трех недель. Я тут же начинаю хлопотать о том, чтобы ему разрешили увидеть сына. Второго января восемьдесят шестого года он приезжает во Францию. Ему помогают со всех сторон — соотечественники, врачи, министр культуры, посол СССР и даже президент Республики. Наконец его сыну разрешают приехать к нему. Они не виделись четыре года. Когда Тарковский выходит из больницы, я принимаю в моем большом доме всю их семью. Андрей собирается заканчивать монтаж фильма "Жертвоприношение" и уже говорит о будущем фильме, который хочет назвать "Святые — самые несчастные из людей".

По совету идиотки-подруги он уезжает из Парижа и едет лечиться в Германию в клинику "знахарей".

Андрей умирает двадцать девятого декабря восемьдесят шестого года.

На похороны пришло очень много народу. Собрались все друзья. Мстислав Ростропович, сидя на ступеньках русского собора на улице Дарю, вкладывает в игру всю душу, выражая в надрывном плаче виолончели нашу тоску.

У метро "Аэропорт" есть улица, где живут писатели, сценаристы, поэты. Я побывала здесь в самых разных квартирах, восхищалась библиотеками, коллекциями современной живописи и старинных икон. В течение шестьдесят девятого года в отчаянном поиске уголка, где мы могли бы спокойно встречаться, мы случайно попадаем к маленькому старичку, который ходит наклонившись вперед, как печальный гном, но глаза у него живые, он постоянно смеется, и вообще он просто очарователен, так что даже пользуется успехом у женщин. Он очень официальный сценарист и работает на "Мосфильме". Ему хорошо платят, и он получает вполне приличную пенсию. Маленький чиновник культуры, один из тысячи. Всех очаро-

вызывает его необыкновенная живость ума, которой он пользуется теперь только в разговорах с друзьями.

Он уступает нам главную комнату своей двухкомнатной квартиры на четвертом этаже одного из писательских домов, в самом начале знаменитой улицы. Это, конечно, не хоромы, но нам здесь очень нравится. Старик ретируется в свой кабинет, на который имеет право как "работник умственного труда".

Мы начинаем потихоньку осваиваться в этом доме. Когда бы мы ни проснулись, у старика всегда готов для нас чай с только что поджаренным хлебом. Мне хочется отблагодарить его за гостеприимство. Потратив несколько сот франков в "Березке", я стряпаю ужин — не то французский, не то итальянский — с большим количеством советского шампанского "брют", которое продается только на валюту. Я знала эту его слабость, и, надо сказать, я и сама люблю это вино, которое производят в Абрау-Дюрсо в Крыму из шампанских саженцев в лучших французских традициях прошлого века. Как и всякий удачный вечер, наш заканчивается чтением стихов. Ты приумолк. В своей огромной голове этот человек разложил по векам или по темам всю мировую поэзию. Он читает нам Омара Хайяма и Шекспира, Бодлера и Гёте. Потом вы, перебивая друг друга, читаете Пушкина, произведения которого ты знаешь почти все наизусть, — и все-таки он побеждает в этой дуэли. Но когда он начинает вдруг читать твои собственные стихи, ты уже не знаешь, что и сказать. Уже поздно, старик откланивается и исчезает, задорно сверкнув глазами.

В день нашей свадьбы мы получаем большой пакет, толстый и тяжелый. Его приносит девушка с глазами цвета морской волны и великолепными тонкими белыми руками: "Это от Василия, сам он не мог приехать, вот, держите". В картонной коробке, завернутой в несколько газет, лежит самая красивая икона дома. Как только мы возвращаемся из Грузии, мы звоним ему. Никто не отвечает. Немного спустя нам говорят, что старик — эрудит и поэт — умер. Его икона всегда оставалась в нашей спальне, несмотря на многочисленные переезды, а теперь висит напротив моей кровати. Возле нее — другая икона: святой Георгий на белом коне; мне ее принес в июле восьмидесятого один из твоих школьных друзей. Он держал ее на вытянутых руках и трясся от рыданий. Он не сказал ни единого слова, он лишь едва поднял на меня глаза и сквозь слезы попытался изобразить нечто вроде улыбки, когда я приняла икону у него из рук.

Я получила разрешение увезти эти иконы с собой в Париж по решению экспертов Третьяковской галереи и с согласия специальной таможенной комиссии. Они не имеют большой ценности, они не очень древние. Но для меня эти иконы — самые прекрасные.

Семьдесят пятый год. Мы в дороге к Южной Америке. Первая посадка в Мадриде. Франко еще у власти. Аэропорт похож на все остальные, и, если бы не какая-то поломка в моторе самолета, это была бы обычная посадка. Мы едем в Мексику в компании Клодины — знакомой актрисы.

Шесть часов мы ждем в аэропорту, пока починят самолет, и все это время Клодина уговаривает нас лететь другим рейсом. Она так нервничает, что мы соглашаемся. Пассажиры садятся в самолет, и мы остаемся одни. Наши места забронированы на завтра. В аэропорту не осталось ни полиции, ни таможенников — уже очень поздно. Карабинер, который провожает нас к выходу в город, бросает рассеянный взгляд на все три паспорта и говорит: "До завтра. Бузнас ночес".

Мы удачно проскочили, учитывая то, что у тебя нет визы в Испанию. Мы здесь как бы контрабандой. Этакие сбежавшие школьники. Все тебе нравится: старый город, где мы ужинаем, гуляющие люди, вышедшие подышать после жаркого дня, ресторан "Фламенко", где мы сидим до самого утра и слушаем песни. Гортанные звуки испанских песен очень похожи на цыганский романс. Я с трудом увожу тебя оттуда, чтобы успеть поспать хотя бы несколько часов, прежде чем осмотреть завтра Прадо.

В музее я веду тебя в зал Веласкеса, мы любуемся картинами, мы можем оставаться здесь сколько угодно — посетителей почти нет. Тебя восхищают Иероним Босх и Гойя, особенно — трагическая сила его полотен черного периода. Какая удача, что у тебя не спросили визу!..

Мы возвращаемся в аэропорт и, немного нервничая, сразу направляемся с паспортами в руках к полицейскому посту. Наша подруга, хорошо говорящая по-испански, проходит первая. У полицейского глаза лезут на лоб: ни в одном из паспортов нет нужной печати. Для нас, француженок, это не имеет большого значения, но твой паспорт — весь красный, с серпом и молотом — просто жжет ему руки. По его безумевшему виду мы понимаем, что сейчас начнется скандал, и, говоря все хором, пытаемся объяснить, что сломался самолет, что было поздно, что нам срочно нужно в Мексику. Мы так

стараясь, что ошалевший карабинер, оглядевшись вокруг, вталкивает нас в зону вылета и вполне логично шепотом делает вывод: "Нет визы на въезд — нет и визы на выезд".

На острове Косумель наша белая комната выходит окнами на море, и мы можем любоваться отсюда скалами и пылающими закатами. Ты пишешь целыми днями, и я, возвращаясь с работы, нахожу тебя склонившимся за столом, на котором рассыпаны листки бумаги.

Вечером мы ужинаем маринованной рыбой и жареными лангустами, бифштексами из черепахи и экзотическими фруктами. Два старика сидят по краям длинного стола. Джон Хьюстон, играющий в фильме роль моего мужа, — пронзительный взгляд, сигара в зубах, несмотря на астму, и стакан водки в руке. Он слушает, как ты поешь, кивая в такт головой. Напротив него сидит Нептунио — так мы называли его, потому что он и вправду царствует в морских глубинах. Серебряная борода и всегда всклокоченные волосы обрамляют смуглое, совершенно азиатское лицо. Обычным рыболовным крючком он цепляет за нижнюю губу огромных акул, и они, как дрессированные собачки, плавают туда-сюда перед камерой. Вообще его свойское обращение с морскими чудовищами прославило его по всему Карибскому морю. Но когда он слушает, как ты поешь, глаза у него подергиваются грустью. Нептунио — очень сентиментальный человек.

Однажды воскресным утром мы ждем его, чтобы в первый раз попробовать понырять вместе. Тебе не терпится окунуться в морские глубины. Что до меня — я боюсь, но все же после долгих уговоров соглашаюсь, потому что не хочу выглядеть трусихой в твоих глазах. Но подводный мир меня пугает, и мне не по себе.

Появляется Нептунио со всем необходимым снаряжением для ныряния. Надо идти. Он быстро нам объясняет, как что работает, вешает грузики на пояс, помогает натянуть ласты. Вот мы и готовы. Мы ныряем. Сердце у меня вот-вот выскочит: прямо передо мной — вертикально уходящая вниз скала, синь — от бирюзовой до чернильно-черной, мириады разноцветных рыбок. Длинные, клейкие водоросли липнут к телу, я вздрагиваю и, прицепившись к нашему провожатому, не сопротивляясь, иду ко дну. Ты бесстрашно опускаешься впереди, ты уже на короткой ноге с этим подводным царством. Я вижу, как ты улыбаешься под маской, искажающей твое лицо. Рукой ты показываешь мне на дно, делаешь знак плыть за

тобой и удаляешься, исчезая в резном проеме коралловых зарослей. Сначала я еще вижу тебя, но потом остается только бледное размытое пятно впереди, и, наконец, ты исчезаешь из виду. Меня охватывает паника, у меня кружится голова, мне не хватает воздуха, я сжимаю руку Нептуну, он понимает и выталкивает меня вверх. С облегчением я разбиваю зеркало водной поверхности, вырываю изо рта мешающую трубку и глубоко вдыхаю, прежде чем поплыть в изнеможении к берегу.

Эти несколько минут, проведенные под водой, оставят во мне кошмарное воспоминание. А ты — ты расширил свое восприятие мира, отныне ты ныряешь по утрам и вечерам. Нептуну смотрит на тебя с городостью и нежностью. Ты — его русский друг, твой голос заставляет его плакать, но главное — ты теперь его сообщник, навсегда ослепленный подводным великолепием.

По возвращении на континент мы берем напрокат машину и едем в Мехико. Нас сразу же зачаровывает волшебный пейзаж. Дорога поднимается высоко в гору. Мы проезжаем сквозь густой, словно ватный, слой облаков. На огромном плато стоят как часовые гигантские кактусы. Вытянувшись посреди дороги, черная пантера лениво поднимает на нас свои зеленые глаза, потягивается, как большая кошка, недовольно машет хвостом и удаляется королевской походкой. Выпрыгнув из машины, ты бросаешься за ней вдогонку, но она вдруг исчезает.

Мы приезжаем в небольшую деревню. Крыши из пальмовых листьев, земляные полы, гамаки, несколько кур, плешивых собак и необычный, возвышающийся в центре площади и связанный электрическим проводом с трескучим генератором холодильный шкаф ярко-красного цвета с большими белыми буквами: "Кока-кола". Индейцы внимательно смотрят на нас, их лица угрюмы. Как только нам удастся объяснить, что мы — не американцы, а французы из Парижа, с той стороны океана, они начинают улыбаться и предлагают нам такос — пирожки с начинкой, сочные и чертовски переперченные, фрукты и, естественно, ледяную кока-колу. В течение всего путешествия мы будем сталкиваться с вездесущей американской техникой, как, впрочем, и с враждебностью по отношению к тем, кого местные жители называют "грингос". И каждый раз, как только они узнают, что мы — французы, улыбка возвращается на их лица. Несколько раз мы пытаем-

ся объяснить, что ты — русский, из Москвы, но совершенно очевидно, что им это не понятно. Наш испанский к тому же очень ограничен, как, впрочем, и их испанский — мы находимся в самой глубине Юкатана, здесь говорят лишь на языке предков.

Красивые и гордые мальчишки стоят вдоль дороги, держа на вытянутых ладонях какой-нибудь глиняный черепок. Они никогда не просят милостыни, а стараются выменять на несколько центов эти маленькие кусочки скульптур или глиняной посуды государства Майя. В Чичен-Ица мы приезжаем очень поздно, толстая цепь преграждает вход. Радушный сторож соглашается проводить нас к месту недавних раскопок. Мы прогуливаемся в кроваво-красном освещении заходящего солнца среди храмов, заросших тропической растительностью. Расчистили только огромную, почти вертикальную лестницу. Ты одним махом взбираешься наверх и спускаешься с ловкостью акробата, отбивая чечетку на стертых ступенях.

На следующий день — Паленка: высокие холмы окружают огромную гору с выровненной квадратной вершиной и храмами по четырем углам. На барельефах, изображающих умственные болезни, нас особенно поражает один профиль. Я фотографирую тебя тоже в профиль — сходство поразительное. Как странно видеть свое собственное лицо в камне, вырезанном много веков назад... Ты начинаешь говорить о своих дурных порывах, о своей склонности к саморазрушению. Никогда раньше ты не осознавал этого так ясно. Само место располагает к раздумью. Мы одни, и эти тела в мучительных позах, изображенные гениальным скульптором, вызывают в нас конкретные воспоминания. Твои собственные мучения — вот они, перед нами, воплощенные в камне проныцательным художником.

Нас отвлекает от этого мрачного созерцания какой-то голос, потом — другой, потом — десятки голосов, которые перекрывают друг друга, перекликаются, разносятся высоко в небо.

— Это майя разговаривают с нами, — говоришь ты. Я улыбаюсь. У нас над головами сотни птиц-лир с пышными раздвоенными хвостами. Они кружат в воздухе и поют гортанными, почти человеческими голосами. Ты задумчиво слушаешь их и говоришь:

— Какой красивый язык у этих майя!

В Мериде — городе, основанном Кортесом из камней раз-

рушенных храмов, в середине которого каменным кораблем возвышается собор, — маленький горбун хватает тебя за рукав, почти силой усаживает на скамеечку и начинает неистово начищать тебе сапоги. Заплатив ему хорошенько и дав на чай, ты идешь дальше, беспрерывно поглядывая себе на ноги.

— С ума сойти как блестят! Можно подумать — новые.

На рынке молодая девушка печет прямо перед нами на раскаленном камне блинчики и начиняет их свиным ливером. Проезжающий мимо мотоцикл чуть не задевает нас, ты отпрыгиваешь в сторону, блинчик падает на землю, и ты принимаешься ругаться — твои красивые сапоги усыпаны жирными пятнами.

Как только мы приезжаем в пригород Мехико, нас охватывает беспокойство. Мы начинаем думать, как найти в этом огромном городе Макку. У нее мы должны остановиться. Макка — бывшая балерина русского происхождения, подруга Джона Хьюстона. Мы набираем ее номер, и — о чудо! — ее дом оказывается в двух шагах от нас. Макка пригласила множество друзей. Один из них — бородатый приветливый человек — протягивает нам руку: "Меня зовут Влади, я — художник. Моего отца звали Виктор Серж".

Сын Макки, который работает на телевидении, получил разрешение сделать большую передачу о тебе. Как все удачно складывается! Мы срочно готовим программу. Надо отобрать и перевести тексты на испанский, написать биографию, пусть даже не всю, потому что здесь тебя совсем не знают. Надо подумать о декорации и подобрать аккомпанемент. После долгих споров мы выбираем сольный концерт — это то, что ты предпочитаешь, и последние записи, сделанные в США для Си-би-эс, доказывают, что это и для публики лучшее решение.

Вот текст, который ты пишешь для конферансье:

"Владимир Высоцкий — актер, работает в Москве, в Театре на Таганке — одном из интереснейших театров СССР — под руководством Юрия Любимова.

В 1961 году Владимир Высоцкий закончил Школу-студию МХАТ в Москве.

Владимир Высоцкий сыграл в кино более двадцати ролей, среди которых — Ибрагим Ганнибал в "Сказе про то, как царь Петр арапа женил" по Пушкину и фон Коррен в "Плохом хорошем человеке" по Чехову. В театре он сыграл Галилея в "Жизни Галилея" Брехта, Лопухина в "Вишневом саде" Чехова и роль Гамлета в пьесе Шекспира.

В 1976 году группа получила гран-при за представление "Гамлета" на фестивале в Битеве в Югославии.

Высоцкий пишет слова и музыку песен, которые исполняет сам, аккомпанируя себе на гитаре. Его песни-баллады очень разнообразны по тематике — лирические, политические, шуточные. У него их больше шестисот. Высоцкий записал пять сококопюток в СССР и две большие пластинки в Париже.

Темы баллад разнообразны. Война, спорт, сказки... Здесь есть и песни протеста, но сам автор говорит, что он старается писать об общечеловеческих проблемах. В своих стихах он размышляет о жизни, смерти, о судьбе, о ненависти, о любви, о несправедливости, о героизме, о страдании, о свободе, о дружбе.

Высоцкий не является официальным поэтом, то есть его тексты не печатаются. Но стихи и баллады используются в кино. Он поет перед студентами, рабочими, на заводах, в университетах, в различных организациях. Он поет на сцене и на экране. "Я не пишу для определенной категории зрителей, — говорит он, — я стараюсь затронуть душу людей вне зависимости от их возраста, профессии, национальности. Я не люблю легких песен. Я не люблю, чтобы на моих концертах люди отдыхали. Я хочу, чтобы моя публика работала вместе с мной, чтобы она творила. Наверное, так установилась моя манера. Моя песня — это почти крик".

Баллады Высоцкого — это монологи разных людей. Но он всегда поет от первого лица и становится, таким образом, участником того, о чем поет. Он старается влезть в шкуру своих героев, жить и умирать вместе с ними.

"Я думаю, — говорит он еще, — что поэзия не знает границ, что проблемы, которые меня волнуют, точно так же волнуют всех других. Я хотел бы, чтобы люди узнали еще одну грань творчества в моей стране — авторскую песню. Я хотел бы также надеяться, что языковой барьер не будет слишком большим препятствием для понимания. Больше всего я люблю петь для моих друзей, на суд которых я выношу каждую новую песню. Здесь я тоже надеюсь найти друзей. Любому артисту необходимо работать для людей, постоянно открывая для себя новое повсюду в мире. Мой театр приедет в ноябре в Париж. Я надеюсь, что когда-нибудь мы приедем в Мехико".

Этот текст настолько не нуждается в комментариях, что передача проходит без интервью. Ты поешь, как всегда, не щадя сил. И телефонная станция телевидения буквально разры-

ваегся от звонков восхищенных зрителей. За час ты завоевал публику всего Мехико.

Кто еще так похож на американца, как советский человек? Они отдыхают летом на берегу реки, рыбачат, пьют пиво и говорят о будущем детей в нескольких тысячах километрах друг от друга, и жители Подмосковья ничем не отличаются от жителей пригорода Нью-Йорка. Особенно ясно мы это увидели в Диснейленде. Если европейцев в США шокирует наивность, безвкусица, "мещанство во дворянстве", то именно все это и нравится советским, которые встречают здесь повсюду ту же старую добрую наивность и ребяческое желание поразить приятеля. Глядя на них, ты говоришь: "Как легко мы могли бы договориться между собой — русские и американцы!"

Я чувствую, что Диснейленд особенно интересует тебя. Ты говоришь мне о нем с самой Москвы. Может быть, ты видел передачу по телевизору, или читал о нем, или просто слышал? Диснейленд — это невысказанное нагромождение бутафории — замков, пиратских кораблей, искусственных речек и водопадов... Есть подвесная железная дорога, по которой ездит маленький поезд. Здесь толкуются люди, улетаая мороженое, гамбургеры и всякие там "хотдоги".

Приехав рано утром, мы успеваем покататься на всех аттракционах, мы проходим по всем комнатам ужасов — бесконечным маленьким миркам, которые покоряют тебя. Ты раздражаешься смехом при виде семи карликов, если можно так выразиться, в натуральную величину. Я наблюдаю за тобой, потому что здесь все состоит из трюков, и для посвященного человека, работающего в кино или в театре, все шито белыми нитками. Но нет, по твоим широко открытым глазам, перебегающим с предмета на предмет, по твоему радостному лицу видно, что тебя захватывает это зрелище.

В зале голограмм я и сама принимаюсь хлопать в ладоши. Здесь действительно великолепно. Праздничный зал, пыльный и словно забытый, опутанный гигантскими серебряными паутинами, вдруг приходит в движение и наполняется неземными существами — маркизами и маркизиками, оркестрами и слугами. Музыка Моцарта приглашает их танцевать. И они начинают кружиться в каком-то замедленном темпе. Кажется, что здесь остановилось время и перед нами оживают утонченные призраки прошлого. Внезапно все исчезает — и вот мы уже снова в толпе, где ты не без злой радости обнаруживаешь, что толстые задницы не являются монополией России. Надо

сказать, что мне редко приходилось видеть столько полных людей, одетых без всяких комплексов в полосатые или клетчатые "бермуды", что отнюдь не придает им стройности, и то и дело подносящих ко рту огромные порции мороженого, увенчанные кремом.

Когда мы, тоже объевшиеся самой удивительной едой и булькая от дюжины стаканов ледяной кока-колы, с отекающими от долгой ходьбы ногами, садимся на тротуар в ожидании машины, я чувствую себя разбитой, меня подташнивает от усталости, а ты — необыкновенно весел. Тебя подкупила эта добродушная Америка, которая и вправду похожа на ту толпу, которую можно увидеть в жаркий полдень на берегу Москвы-реки — мужчины в нижнем белье и с мокрыми носовыми платками, завязанными узелками с углов, на головах, женщины, вываливающиеся из толстых хлопчатобумажных бюстгалтеров, мальчишки в длинных черных трусах в стиле футболистов сороковых годов, которые играют, как и мальчишки во всем мире, в войну... В войну, которой все эти люди, от Диснейленда до русских пляжей, боятся как огня — и все-таки не могут договориться о разоружении.

Мы философствуем на эту тему всю дорогу до нашей шикарной супергостиницы с кондиционерами и звукоизоляцией, где, приняв ледяной душ, падаем на огромную постель, чтобы проспать всю ночь без сновидений.

В том же году в Ницце одним весенним днем мы едва разминулись со смертью.

У знакомого владельца гаража, который обслуживает кинозвезд и немного коллекционирует редкости, я купила машину известного американского актера. Как его зовут, я забыла, но помню марку машины — "кадиллак-континенталь". Настоящее чудо — синего цвета, длинная, изящная, начиненная электроникой, с кожаными сиденьями, дымчатыми стеклами, удивительно быстрым разгоном благодаря турбонаддуву, со стереомагнитофоном, маленьким баром и холодильником. Машина не очень дорогая, потому что расходует много бензина — где-то двадцать восемь литров на сто километров. А еще — у нее почти нет тормозов, но этого я пока не знаю. Ты открываешь дверцу, нажимаешь на все кнопки. Ты откидываешь сиденье, получается что-то вроде люльки — и ты немедленно ложишься и даже на минуту закрываешь глаза. Стекла опускаются и поднимаются, музыку можно слушать с четырех колонок — впереди, сзади, слева и справа.

После каждого нового открытия ты смотришь на меня круглыми глазами, будто сам себе не веря, снова что-нибудь включаешь — и все работает, и ты смеешься как ребенок.

Мы уже несколько часов едем к побережью. На спидометре сто восемьдесят километров в час, кажется, что машина скользит, как лодка. Мне хочется, чтобы ты посмотрел на Ниццу сверху, с большого горного уступа. Мы поднимаемся в горы, останавливаемся, чтобы полюбоваться пейзажем, закатом, серовато-розовыми облаками, и едем дальше: мы ужинаем сегодня в Сен-Поле, в "Золотом голубе". Я хочу познакомиться тебя с семьей Ру, с их добрым и уютным домом, с бабушкой семейства Титиной — женщиной устрашающего вида, но удивительно гостеприимной и мягкой. Она очень любит моего младшего сына Владимира.

Мы едем вниз по шоссе, я рассказываю тебе что-то, сверху хорошо видны старые кварталы Ниццы. Вдруг я понимаю, что отказали тормоза. Передо мной — последний прямой спуск, очень крутой. Я давлю на педаль, но она будто проваливается, и машина едва замедляет ход. Я торможу мотором и одновременно — ручником. Ты ничего не замечаешь, ты залюбовался побережьем, а я уже вижу, словно в кино, как наша машина разбивается о скалу. Это счастье или беда, но актеры всегда контролируют свои эмоции... Слава богу, впереди нас никого нет, и мы на бешеной скорости въезжаем на большую и совершенно пустынную площадь. Как только мы выехали на ровное место, машина начинает тормозить сама и останавливается, издавая резкий запах жженой резины. Я вся взмокла от ощущения, что только что едва не убила тебя. Я говорю, что мне хочется пить, и мы идем выпить по стакану холодной воды. Это дает мне время собраться с мыслями. И вот мы снова пускаемся в путь. Ты восхищаешься зданиями в стиле рококо на знаменитой набережной Англичан. Уже начинает смеркаться. Какой-то человек мирно стрижет газон. Когда мы проезжаем мимо, машина вздрагивает от удара, звук похож на выстрел. Мы оба выскакиваем из нашего красавца "кадиллака". На стойке, разделяющей переднее и заднее стекло справа, на уровне головы — огромная дырка и врезавшийся в обшивку камень, выброшенный машиной для стрижки газона, который — еще бы секунда! — попал бы тебе в голову.

Я думаю: "Бог троицу любит". И, испугавшись этих предзнаменований, рассказываю тебе историю с тормозами. Ты принимаешься хохотать, сначала потихоньку, потом — во все горло:

— Вот так вот умереть, в этой машине, с тобой, здесь, быть убитым этим камнем — это же чудесно!

Но видя, что мне не до шуток, добавляешь:

— Успокойся, со мной не так-то просто разделаться. Еще не вечер!

До глубокой ночи беспокойство гложет мне сердце. И лишь на рассвете я засыпаю. Третьего раза не случилось.

На маленькой улочке возле площади Испании в Риме находится ресторан "Да Отелло" — это моя столовая, как здесь говорят. Я прихожу сюда каждый вечер после работы, когда снимаюсь в Риме. Три дочери старого Отелло теперь хозяйки заведения. Это мои подруги, мы знакомы уже больше тридцати лет. Муж одной из них — Дарио — взял тебя под свое покровительство на время нашего пребывания в Риме. Этот музыкант и знаток музыкальных инструментов просто влюбился в тебя. Все началось с одного ужина, ставшего историческим.

Я снималась в "Мнимом больном" с Альберто Сорди. Ты сопровождал меня в Италию, ставшую как бы моей второй родиной — я провела там годы юности.

Я люблю Рим, и особенно квартал, который я тебе показываю сразу же по приезде. Я выбрала маленькую гостиницу на улице Марио дей Фьёри, в двух шагах от знаменитой лестницы на площади Испании и от нашего ресторана с внутренним двориком, увитым виноградными лозами. Здесь снуют ловкие официанты — словно из итальянских комедий. Вино подают легкое, макароны — пальчики оближешь. Вокруг семейного стола уселись хозяйки, их дети, друзья, а за ними и все посетители ресторана потянулись к этому столу. Американские и японские туристы, пожилые обитатели квартала, отдыхающие в свежести вечера от почти тропической июльской жары, местные торговцы, врачи и санитары из ближайшей больницы — около двухсот пятидесяти человек больше двух часов стоят, прижавшись друг к другу, и слушают, как поет "русский". Поскольку старый Отелло — коммунист, большинство людей здесь, за исключением иностранных туристов, доброжелательно настроены по отношению к тебе, тем более что тебя представили как "оппозиционера", а итальянские коммунисты дальше всех отстоят от "линии Москвы". Еще здесь много киношников, которые кое-что слышали о тебе, о твоём театре, о Любимове. Я с грехом пополам перевожу им слова твоих песен. Иногда наступа-

ет полная тишина, потом раздается взрыв смеха. В такт песне люди начинают хлопать в ладоши, официанты то и дело разливают вино в стаканы. Сам собой получается праздник.

Начиная с этого знаменитого вечера Дарио будет твоим верным другом. Он любил тебя, записывал твои песни и в восемьдесят первом году сделал одну из лучших телепередач, посвященных тебе. И теперь, когда я возвращаюсь в Рим, прихожу на улицу Делла Кроче и вхожу в арку, которая ведет во внутренний дворик, я знаю, что друзья расцелуют меня, а потом станут вспоминать тот вечер семьдесят пятого года. Я знаю еще, что после ужина Дарио предложит мне посмотреть или послушать какую-нибудь новую запись — твою или о тебе. И поздно ночью в ресторане, наконец освободившемся от посетителей, будут раздаваться голоса трех моих подруг — Франки, Габриэллы, Марии Пиа — и потекут воспоминания попеременно с мерным счетом вслух — одна из сестер пересчитывает дневную выручку.

Одним прекрасным летним утром мы едем из Рима на машине на деревенскую свадьбу к холмам, возвышающимся над Сполетто. Этот маленький городок, главная площадь которого стала самым красивым в мире театром под открытым небом, расстилается у нас под ногами, сверкая на солнце. На пологом склоне холма перед фермой — луг.

Наши приятели приехали накануне. Дарио и его жена Франка приготовили обед, столы на козлах ломаются от еды. Бочка итальянского деревенского вина уже начата. Дети бегают по траве, плетут венки из ромашек и васильков, несколько человек негромко поют. Мы все похожи на персонажей Ботичелли, особенно жених и невеста с их пышными локонами, грацией, ускользящими улыбками, с их первой любовью.

Ты сидишь рядом со мной и смотришь на них. Волнение заразительно, и воздух такой мягкий — нам недостает лишь Овидия. Все влюблены, даже старшие сидят, обнявшись за плечи.

Ты увлекаешь меня в конец поля. Потревоженные овцы потихоньку снова собираются вокруг нас. Твои слова перемещиваются со щебетом птиц и шелестом травы. Где-то далеко в деревне звонит колокол. От земли поднимается теплый пар. У нас кружится голова — от солнца, от простора, друг от друга... Ты шепчешь: "Как все просто и прекрасно в этом мире!" Мы остаемся лежать, глядя в небо, наслаждаясь этими минутами тихого счастья.

Спускается вечер, мы собираемся возле дома и поем — поодиночке и хором. К нам вернулись мелодии нашего детства. Я пою русские колыбельные, ты берешь гитару, с которой никогда не расстаешься, аккомпанируешь мне, а потом и сам поешь старинные романсы.

Мы еще долго сидим и поем, нам хочется продлить это состояние невесомости, хочется задержаться еще минутку в торжественном покое темнеющих на фоне неба холмов.

Мы останавливаемся на шоссе, чтобы заправиться. Рядом с нами останавливается большой автобус. Вконец измотанные пассажиры, в которых нетрудно узнать твоих соотечественников, немедленно бросаются к туалетам. Некоторые подошли к автоматам с газированной водой, где мы стоим, и не верят своим глазам: "Это — Высоцкий с Влади". Они робко заговаривают с тобой, и вскоре заправочная станция заполняется людьми, обалдевшими от такой встречи. Видеть своих в итальянской деревне, говорить по-русски, раздавать автографы тебе приятно. Работающие на заправке итальянцы никак не могут понять странного оживления, вызванного появлением этого невысокого человека. Они и не догадываются о твоей необыкновенной славе. Вот уже несколько недель ты лишен восторгов почитателей, и теперь ты доволен. Пассажиры автобуса выстроились в ряд, чтобы проститься с нами. Мы уходим с полными руками сувениров. С начала и до конца день удался. Мы возвращаемся в Рим теплой ночью, в машине ты безмятежно засыпаешь у меня на плече.

Август семьдесят шестого года. Мы в Югославии, на небольшом острове Свети-Стефано. Ты снимаешься в фильме. Я приехала сюда вместе с тобой.

Из Парижа мне звонит сестра. Сначала она просит меня сесть, отчего я сразу прихожу в ужас, и сообщает мне, что дом ограбили. Все, что я приобрела за двадцать лет работы, исчезло. Драгоценности, серебро, меха, кинокамеры, радио-аппаратура... Реакция моя сильно шокирует сестру — я начинаю хохотать. Потом, отдышавшись, говорю: "Только-то?" Я боялась, что с кем-нибудь из сыновей случилось несчастье. И правда, что значит пропажа вещей по сравнению с тем страхом, который я испытала! Я сообщаю тебе эту новость весело, будто забавную историю. Ты же страшно расстроен. В твоих глазах все эти вещи — бесценные сокровища. Мне приходится тебя утешать. Конечно, все это очень обидно — ведь среди

украденных драгоценностей были и маленькие колечки моей матери, которые она носила не снимая всю жизнь. Я не взяла их с собой в поездку — боялась потерять во время купания. Что же до всего остального — все можно купить, и в конце концов я могу прекрасно обойтись и без столового серебра, без драгоценностей и всякого другого. ”Но меха, — говоришь ты, — тебе они будут нужны зимой в Москве, и потом — не обманывай, это твое единственное кокетство”. Нет, не единственное. Я еще люблю обувь, но обувь не тронули. Я признаюсь, что жалею о большой норковой шубе, в которой мне было так тепло и в которой я выглядела как настоящая барыня. Но существуют замечательные пуховки — я часто носила такие в горах. Да все это и неважно, дети здоровы, мы счастливы, мы работаем, жизнь прекрасна!

В конце сентября я возвращаюсь в Москву. В аэропорту ты встречаешь меня, как всегда, в зоне досмотра — твои поклонники с таможни пропустили тебя. Мы обнимаемся, ты берешь мой чемодан, я прохожу таможенню довольно быстро — ведь, кроме лекарств для друзей, я ничего не везу. Ты беспрерывно говоришь о разных разностях. Я чувствую, что ты что-то затеял.

Дома ты открываешь дверь нашей квартиры, обитую дермантином, — соседи жаловались на избыток ежедневной музыки. Я вхожу в гостиную: везде горит свет, все убрано, на низком столике — фрукты, в вазах — цветы. Ты смотришь на меня, и в твоих глазах я вижу ликование, какое бывало у меня, когда мои дети, едва проснувшись наутро после рождества, бросались разворачивать подарки. Ни слова не говоря, ты подводишь меня к двери в спальню и несколько театральным жестом открываешь ее. На большом голубом ковре, на кровати, на стуле, куда мы обычно вешаем одежду, на маленьком столике, где стоят мои туалетные принадлежности, и даже на подоконнике — десятки серебристых шкур, настоящий меховой ковер — серая симфония. Ты говоришь:

— Это мех, который ты так любишь. Все охотники России прислали мне самые красивые шкурки для тебя. Это — баргузинский соболь, самый редкий — посмотри, ты можешь сшить себе самую красивую в мире шубу. Тебе не будет холодно этой зимой.

Я в жизни никогда не видела ничего подобного. Мама рассказывала мне, что бабушкин меховой палантин был сшит из десятков соболиных шкурок, вывернутых мехом внутрь,

чтобы было теплее. Я смотрю и не верю своим глазам. Меня только немного коробит от резкого запаха этого меха. Ты говоришь, что это ничего, что шкурки не выделаны, что охотники прислали их тебе в частном порядке и они не прошли через государственную дубильню. Здесь шестьдесят шкурок — хватит на длинное манто, хоть со шлейфом.

Назавтра я убираю их на антресоль в большой чемодан, думая, что потом отдам их обработать и сшить. И продолжается обычная жизнь с ее заботами, трудностями, палками в колесах. Некоторое время спустя я вспоминаю о соболях, открываю чемодан и отшатываюсь. Тысячи червей извиваются на поверхности. Почти весь мех испорчен. И только три шкурки уцелели. Они и теперь у меня — шелковистые воспоминания...

Однажды вечером мы подъезжаем к большой гостинице в Мюнхене. Мы должны здесь встретиться с твоим другом Романом. Он эмигрировал несколько лет назад и теперь торгует машинами, а это — одна из твоих страстей.

Я весь день за рулем, я устала, и, когда ты говоришь мне: "Смотри, кто стоит", — я не сразу узнаю человека, который курит в тени. Его фигура вырисовывается контражуром, и, когда он затягивается, я вдруг на мгновение вижу его выразительное лицо и глаза с тяжелыми веками. Это — Чарльз Бронсон, афиши его последнего фильма расклеены по всей Европе. Он — один из твоих любимых актеров, и тебе непременно хочется поговорить с ним. Я не успеваю удержать тебя, ты выскакиваешь из машины и направляешься к нему. Я вижу, как ты что-то ему объясняешь, а он спокойным широким жестом отстраняет тебя и отворачивается. Ты возвращаешься ко мне. Ты хочешь, чтобы я объяснила ему, что ты — русский актер, что ты хочешь высказать ему свое восхищение — ведь меня он выслушает! Я отвечаю тебе, что вряд ли ему это будет приятно. Я напоминаю тебе, как ты сам устаешь, когда в ресторанах, на улицах, в магазинах люди бросаются к тебе с вопросами. Но ничего не помогает — тебе непременно хочется с ним поговорить. Я в свою очередь выхожу из машины, подхожу к Бронсону, но не успеваю сказать фразу, которую приготовила. Лениво, усталым голосом он обрывает меня: "Оставьте меня в покое. Идите отсюда". Тем же жестом он отстраняет и меня и, повернувшись на каблучках, уходит в гостиницу.

Ты издали наблюдал за этой сценой, ты страшно обижен,

и мне очень нелегко тебя утешить. На несколько минут ты забыл, что такое известность, сколько с этим связано ежедневных неприятностей. Сейчас ты всего лишь обычный поклонник, тщетно пытавшийся подойти к любимому артисту.

К счастью, наши друзья уже пришли, и мы сразу же начинаем обсуждать твою более прозаическую мечту — покупку "мерседеса". Я привозила из Парижа в Москву много машин. Ты научился водить, разбив несколько из них. Теперь тебе нужен "мерседес" — он надежен, и можно найти запчасти у немецких дипломатов, а еще потому, что это одна из марок, которую Брежнев получил в подарок и время от времени водит сам. А мода, как всегда, следует вкусам или внешнему виду высшего руководства. Ты шутишь над внезапным распространением родинок на лицах аппаратчиков при Хрущеве, над сгустившимися чудесным образом бровями в эпоху Брежнева, над акцентом, которым заражаются даже дикторы телевидения, пытаясь подделаться под манеру Генерального секретаря, но все-таки тебе самому хочется такую же машину, и, несмотря на трудности, связанные с провозом машины через границу (на мой взгляд, это гораздо труднее, чем внезапно покрыться родинками или отрастить брови), ты настаиваешь.

В конце концов ты неплохо проработал этот вопрос. Благодаря нескольким концертам для таможенников ты получаешь разрешение на ввоз "мерседеса" — все машины, которые я привозила до сих пор, надо было увозить из Советского Союза через определенный срок. А эту можно будет оставить, заплатив, правда, довольно большой налог. Но это тебя не пугает — ты даешь по пять концертов в день, каждый по два часа, на огромных, битком забитых стадионах, один — с гитарой, с плохим микрофоном, который воспроизводит эхом твой крик, где почти невозможно разобрать слов. Но публика знает твои песни наизусть, и потому для нее главное в концерте — сам факт твоего присутствия. И так продолжается десять дней подряд — десять дней, украденных из твоего отпуска в театре. Под конец ты худишь, изматываешься и приходишь до полубморочного состояния, но успеваешь заработать необходимые деньги. А организаторы твоих концертов — например, городская филармония — кладут в карман сотни тысяч, сразу же выполнив чуть ли не половину годового плана. Правда, часто случается, что концерты отменяют в последний момент, вывесив соответствующее объявление для публики. Но обычно собравшиеся зрители отказы-

ваются уходить, требуют твоего выхода, а при твоём появлении устраивают такую овацию, перед которой вынуждена отступить любая цензура.

Итак, необходимую сумму тебе удастся собрать. А в остальном ты рассчитываешь на меня. К валюте ты не можешь и прикасаться. Даже когда, гораздо позже, за концерты на Западе ты будешь получать валюту, эти деньги тебе будут переводить в рубли, как и всякому советскому гражданину, работающему за границей. На этот счет у тебя есть одна мысль: чтобы поехать за границу, каждый советский турист должен получить некоторую сумму в валюте, пусть минимальную. А между тем, если путешествия за границу сделают свободными, если несколько миллионов туристов захотят на несколько дней съездить пусть даже в соседнюю Западную Европу, государству придется выдать им миллионы в валюте. А валюта, естественно, гораздо более полезна для закупки техники или пшеницы, которых не хватает. Итак, кроме всего прочего, существуют чисто экономические препятствия для свободного въезда и выезда людей. В Советском Союзе не так уж много желающих эмигрировать: часть интеллигенции, люди, чувствующие себя выброшенными за борт, евреи, мечтающие об Израиле, верующие, гомосексуалисты, непонятые творцы, сопротивляющиеся системе, мистики и еще те, кто рассчитывает на богатство, успех и славу на Западе. Но все остальные — то есть двести с лишним миллионов человек — хотя просто-напросто провести отпуск не на Черном, а на Средиземном море, не в одной из республик Советского Союза, а в одной из европейских стран. Просто чтобы посмотреть, вкусить радость путешествия, сменить обстановку. Но вот, помимо вопросов открытости мышления, существует непреодолимая проблема валюты, и из-за нее, думаешь ты, свободное передвижение людей еще не скоро разрешат.

Итак, мы в Мюнхене, и нам нужно найти подходящую машину. Надо сказать, что ты пытался купить "Жигули", но на них огромная очередь, а цена больше налога за иномарку. Мы с Романом бегаем по огромным стоянкам машин в комиссионных магазинах, и ты останавливаешься перед той, которая станет Твоей Первой Машиной: огромный "мерседес" серо-стального цвета с четырьмя дверцами. По сравнению с новой машиной он просто ничего не стоит.

Мы покупаем вожделенный "мерседес". Твоя радость передается и нам. Ты просто счастлив, ты садишься за руль и забавляешься. Увидев эту машину, московские гаишники сна-

чала отдавали тебе честь, путая тебя с кем-то, а потом, узнав тебя, так и продолжали приветствовать тебя по-военному, когда ты ездил по городу. За этой машиной появится другой "мерседес" — спортивный, шоколадного цвета. Это будут твои любимые игрушки.

Только что купленная "шоколадка" — спортивная и нововизная — везет нас из Германии в Москву. Это конец семьдесят девятого года. Мы едем со скоростью больше двухсот километров в час по немецким дорогам, проезжаем польскую границу, и ты с гордостью сообщаем мне, что для Олимпийских игр строится дорога Брест — Москва: "Покончено, наконец, с той жуткой дорогой в ухабах и рытвинах. Теперь и у нас можно нестись на полной скорости". И правда, мы едем очень быстро. Меня только беспокоит отсутствие машин и дорожных знаков, но ты так уверенно говоришь, что просто сегодня — воскресенье, выходной день, что я, не сбавляя скорости, еду дальше. Впереди я вижу какой-то проем в лесу. По обеим сторонам дороги — бульдозеры, экскаваторы, катки, а главное — кончается асфальт. Я жму на тормоза, перед глазами мелькает один из моих давнишних кошмаров — дорога обрывается, прыжок в пустоту, небытие...

Наглотавшись пыли, кашляя, ругаясь и хохоча, мы сидим в песке в нескольких метрах от дороги. Шоссе в этом месте оборвалось, и на скорости сто километров в час мы вылетели с двухметровой ступеньки. После нескольких часов блуждания по лесу, живые и невредимые, мы наконец выбираемся на старое шоссе какими-то разбитыми тропинками. Ты, несмотря ни на что, доволен: "Зато когда ее закончат, это будет самая красивая дорога!"

Однажды утром нам звонит Елочка и, сильно волнуясь, сбивчиво объясняет, что мебель и вещи Коонен будут распроданы чужим людям и надо немедленно что-нибудь сделать. Я сама начинаю волноваться, но все-таки не совсем понимаю, что делать. Я обещаю ей поговорить с тобой и, как только ты возвращаешься вечером, спрашиваю, кто это — Коонен.

— Как, ты не знаешь Таирова и Коонен?

Я отвечаю, что первое имя мне еще что-то говорит, и робко предполагаю:

— Это, кажется, ученик Станиславского?

Ты принимаешься хохотать:

— Ты почти угадала, ты хитрая! Действительно, Алиса Коонен была ученицей Станиславского. Но Таиров — великий

режиссер, который создал Камерный театр. Она — одна из самых великих трагических актрис. Она умерла недавно, ей было больше восьмидесяти лет. Надо пойти. И потом, если Елочка просит...

Когда мы приходим к нашей старушке, она рассказывает нам со слезами на глазах, что в квартире ее друзей — этой знаменитой супружеской пары — музея вопреки надеждам, не будет, и все, что там есть, будет распродано. Она умоляет нас взять хоть что-нибудь, потому что эти вещи — свидетели жизни артистов русского театра — не должны попасть в случайные руки. Она считает, что им лучше жить у нас.

Мы поднимаемся по лестнице и входим в квартиру. Комнаты очень темные, на стенах — светлые пятна в тех местах, где висели картины. Повсюду картонные коробки, набитые книгами, свернутые ковры... Все производит впечатление вынужденного поспешного переезда, и от этого сжимается сердце. Мы держимся за руки и молча идем по комнатам. Мне странно, что в доме такая громадная мебель. Ты говоришь с горькой усмешкой:

— Они просто не смогли забрать все — в современных квартирах слишком мало места. Но нам повезло — у нас большая квартира с холлом, нормальный коридор, где все пройдет, даже если надо, рояль! Посмотри и выбери, что хочешь. А я посижу здесь.

И ты садишься в красивое кресло темного дерева в стиле ампир и просто тонешь в нем. У кресла очень высокая спинка, как у плетеных шезлонгов, которые можно видеть на пляжах на севере Франции. Я немедленно решаю, что мы берем это кресло. Потом я останавливаюсь перед большим письменным столом с многочисленными ящичками и выдвигаемыми частями. Он похож и на конторку, и на бюро. Привлекают мое внимание секретер очень дамского вида, на котором забыты несколько писем и пыльных фотографий, и еще — застекленная горка. Внутри, в светлом ореховом дереве поблескивают лучи света, и создается контраст с красным деревом снаружи. Наконец, мне показывают огромный платяной шкаф. Когда его открывают, оттуда вырывается запах нафталина и театрального грима. В шкафу на железных плечиках висят дорогие старомодные платья — тоже на продажу. Я с нежностью выбираю два из них, расшитые жемчужинами и черными агатовыми бусинами, и кружевную накидку — тоже черную. Мы уходим немного грустные. Ты говоришь мне на лестнице:

— Целая жизнь — любовь, горести, успехи, трудности, творчество, поиск, — и не остается ничего, кроме нескольких разрозненных частей целого, которое и составляло эту жизнь...

Мы еще долго беседуем на тему о быстротечности жизни, о суетности успеха, о бесполезности накопления вещей, о неблагодарности правительства, о жадности вездесущих наследников...

За этим письменным столом ты написал свои самые прекрасные стихи. В этом кресле я часами слушала, завернувшись в плед, как ты читаешь мне их. В ящичках секретера уложены сотни фотографий, статей, сувениров. Я увезла с собой в Париж кружевную накидку, которая напоминает мне элегантность и изящество Алисы Коонен.

При разделе имущества, в восьмидесятом году, я взяла лишь свои личные вещи, оставив квартиру со всем ее содержимым наследникам.

Мне не хотелось бы, чтобы одним печальным днем кто-нибудь ходил вот так же по нашей квартире, выбирая что-нибудь из вещей среди обломков нашей прошедшей жизни.

На улице морозит. Мы только что переселились в квартиру, которую нам сдали дипломаты, уехавшие работать в Африку. Район строится, это — целый мини-город на юге Москвы. На пятнадцать еще не законченных, но заселенных домов приходится всего один продуктовый магазин. Обычно я ездила на машине в центр и покупала продукты на валюту. Но у тебя появилась привычка каждое утро забирать у меня машину. Ты получил водительские права по блату, я научила тебя водить, и ты тут же начал ездить и в часы пик, и по самым оживленным улицам. Ты ничего не боишься, но мне страшно с тобой ездить. Итак, сегодня утром я остаюсь без машины, а на улице очень холодно.

Я помыла посуду, оставшуюся с вечера, сделала всякие домашние дела, постирала кое-какие мелочи — несколько свитеров, рубашек, салфетки и скатерти — и намереваюсь теперь приготовить хороший ужин. Мы ждем четверых очень близких друзей, в театре вечером нет спектакля, и я знаю, что ты вернешься пораньше.

У меня возникает мысль заглянуть в продуктовый магазин. Во-первых, мне надо пройтись, а во-вторых, я хочу купить кое-какие продукты — хлеб, сыр, масло, а может, мне повезет, и по счастливой случайности здесь окажется апель-

сины, какие-нибудь перемороженные куры или даже батон колбасы с чесноком, которую ты так любишь и которую вдруг выбрасывает на прилавки Главное управление торговли, когда у хозяек не остается ничего, ну буквально ничего, что бы можно было подать к столу.

В норковом пальто на ватине, в сапогах, в шапке, муфте и солнечных очках вид у меня просто марсианский! Я выхожу из дома, захватив несколько сумок. Воздух удивительно чистый и сухой, вдалеке синее лес. Я с грустью смотрю на огромную пустую площадку, где возвышаются наши дома. Лес здесь выкорчеван гигантскими бульдозерами. Не пощадили ни одного дерева, ни одного кустика, так — быстрее, так — дешевле, и следующие пятнадцать лет люди будут жить в бетонированной пустыне, где несколько рахитичных кустов, постоянно обдираемых мальчишками, не спасут в летнюю жару.

Я иду к магазину, стараясь не попадать в заледеневшую грязь. Я перепрыгиваю с бугорка на бугорок, потом — уже по бетонным плитам — подхожу к толпе закутанных женщин, которые ждут открытия магазина после обеда. Кстати, я рассчитывала подойти попозже — я знаю, что в такое время каждый раз бывает давка, куда я предпочитаю не попадать. Продащица, должно быть, запаздывает, потому что все небольшое собрание недовольно жужжит. Мой приход ненадолго отвлекает их от разговора, но плохое настроение сильнее, чем любопытство, и все снова принимаются ворчать. И вот дверь магазина открывается. Как взбудораженный курятник, толпа устремляется в дверной проем, переругиваясь и пихаясь. В дверь могут пройти одновременно только два человека. Я жду и вхожу последняя в холодный и сырой торговый зал. Я сразу же определяю по запаху, что сегодня привезли только молочные продукты, масло и — если еще не раскупили — сыр. Этот магазин самообслуживания совсем новый, но полки уже в безобразном состоянии, а у корзин осталось по одной ручке. Редко лежащие продукты завернуты в противную толстую серую бумагу, на которой фиолетовыми чернилами помечена цена. Это — мой первый поход в магазин в новом районе.

Я покупаю кое-что из продуктов и становлюсь в очередь в кассу. У меня пять пакетов разных размеров. Я плачу и собираюсь уже уходить, но тут контролерша на выходе заставляет меня открыть сумку, вынимает оттуда все мои покупки и потрясает каким-то свертком. Какой ужас — у меня оказался лишний кусок сыра на двадцать восемь копеек, который

кассирша не пробила! Мне становится жарко и почти дурно, к тому же мне стыдно, потому что все остановились и смотрят на меня. Я робко говорю, что кассирша забыла пробить, что ничего страшного не произошло, я сейчас доплачу...

— Ах вот как, кассирша забыла? Знаем мы эти песенки, вот так и создают дефицит! Если одна украдет (она употребила именно это слово) кусок сыра, другая — кусок масла, что будет с государством?!

Я — как в кошмарном сне. Вокруг кричат, женщины ругаются, я вынимаю из кошелька все мои советские деньги и бросаю их на прилавок:

— Возьмите, мне не нужны ваши деньги.

Женщин это приводит в бешенство:

— Нашими деньгами так не бросаются! Мы их тяжело зарабатываем — не то что некоторые!..

Я чувствую, что сейчас упаду в обморок, я вся взмокла, мне хочется плакать. Я вынимаю из сумочки франки и в каком-то дурацком порыве, рассчитывая доказать мои искренние намерения, предлагаю им заплатить в валюте. И вот тут меня единодушно выталкивают вон, и я стою в замерзшей грязи под водопадом ругательств, прижимая к груди свертки.

Я подхожу к нашему подъезду, ничем не отличающемуся от других. Ты уже вернулся и встречаешь меня широкой улыбкой. По моим покрасневшим глазам, шапке набекрень и по тому, как я прижимаю к себе маленькие серые свертки, ты сразу понял, что произошло. Ты берешь у меня свертки и, обняв меня за плечи, ведешь домой, утешая как маленькую:

— Ты ходила за покупками? Да, бедненькая моя?.. И все-таки ты должна понять этих женщин. Для тебя это всего лишь неприятная история. Она скоро забудется. А они живут так каждый день. Прости их. Завтра я оставлю тебе машину.

После тяжелой ночи с множеством друзей, застольем, водкой, ссорами и примирениями рано утром мы должны ехать к писателю, с которым ты работаешь над сценарием. У него дача довольно далеко за городом.

Пригородный поезд набит людьми, которые едут в деревню, увозя с собой все, что они не могут купить на месте. Все перегружены, дети плачут, кошки и собаки пытаются вылезти из корзин и ошейников, в вагоне душно. Я так плохо себя чувствую после вчерашнего, что тебе становится жаль меня и ты с лукавым видом подталкиваешь меня к буфету на станции. Здесь стоят в очереди дежурные пьяницы. Прода-

ют пиво, самую дешевую водку и еще что-то, отдаленно напоминающее коньяк. Мужчины украдкой показывают друг другу три пальца и немедленно находят недостающего одного или двоих, которые добавляют денег до необходимой суммы, чтобы купить поллитровку, а потом вся компания отходит в сторонку. Разделяя содержимое бутылки на троих — точно до капли, по звуку, по бульканью льющейся жидкости, — они выпивают свою долю и приходят в отличное расположение духа. Пахнет пивом, потом, дешевыми папиросами и вдобавок невыносимо жарко. Мне становится так нехорошо, что я как безумная бросаюсь к двери с надписью "Ж". Но, едва переступив порог, я застываю на месте. Я вижу на цементном возвышении несколько женщин, спокойно присевших рядом. Они все поднимают на меня глаза. Я потрясена. И тут, видя мое смущение, из какой-то внутренней деликатности все поворачиваются спиной к единственной свободной дыре.

Со слезами благодарности на глазах я выхожу, пошатываясь, из двери беленького строеньца, на всю жизнь запомнив эту картину...

Ты держишь два стакана и приказываешь мне выпить. Меня передергивает, но ты настаиваешь:

— Надо, надо — это единственное средство. Как говорит Воланд в "Мастере и Маргарите" — лечи подобное подобным.

Ты хочешь, глядя, как я, морщась, "опохмеляюсь" — заглатываю пятьдесят граммов водки и запиваю ее стаканом ледяной воды. И вдруг все как рукой снимает, и я снова становлюсь человеком. Ты внимательно наблюдаешь за мной, и в этот момент глаза у тебя наполняются издевательским весельем:

— Вот так и становятся алкоголиками! Осторожно, мадам!

И такой радостной и приветливой вдруг кажется мне эта станция...

Приближается Новый, 1979 год. В нашей новой квартире батареи едва теплые и совершенно не греют. Везде, кроме кухни, где весь день горит плита, просто костенеешь от холода. На градуснике за окном минус сорок. Мы не снимаем стеганых курток, шапок и меховых сапог. Окна заледенели и покрылись причудливыми геометрическими узорами. Из дома мы не выходим.

И вот однажды вечером мы слышим сначала какой-то шум на улице, а подойдя к окну, видим, как, отражаясь

на кафельной отделке соседнего дома, пляшут высокие языки пламени. Ты выходишь на лестничную площадку, возвращаешься через несколько минут взбудораженный и говоришь, что во дворе происходит нечто невообразимое. Мы бросаемся на улицу. Из всех домов выходят закутанные до самых глаз люди. Все кричат, особенно женщины — их ясные сильные голоса выделяются на фоне общего шума. Нам удается разобрать обрывки фраз: "Так больше невозможно! Изверги! Позор! Все спалим!" И правда, пламя уже пожирает доски, которые люди с остервенением вырывают из забора на стройке. В первый и единственный раз в жизни я видела московскую толпу, с яростью демонстрирующую свое негодование. Во многих домах уже совсем не топили — лопнули котлы. Старички и дети свалились с воспалением легких. Ситуация трагичная, потому что в новых домах нет ни печей, ни вспомогательной системы отопления, а электрообогреватели уже давным-давно исчезли из магазинов. Некоторым удалось отправить детей к бабушкам и дедушкам в деревню, где в любую стужу в избах тепло. Но не у всех есть такая возможность, и гнев нарастает.

Уже не осталось больше досок, которыми можно было бы поддержать костер, некоторые грозятся начать жечь деревянные двери подъездов, другие стараются снять шины у машин со стройки, и все это начинает напоминать бунт. Приезжает милиция. Толпа недовольно шумит, расступается, постепенно расходится, и вскоре мы остаемся почти одни. С замерзшими лицами, со склеившимися от мороза ноздрями, с заиндевевшими бровями мы возвращаемся домой после того, как нам было категорически предложено "освободить площадку".

Это длилось всего несколько минут, но результат не замедлил сказаться. Ночью были посланы специальные бригады для ремонта лопнувших котлов, и на завтра все поздравляли друг друга. Без вчерашнего случая, говорили, никто бы ничего не сделал.

В тот же вечер мы уезжаем в деревню встречать Новый год. Наши друзья живут там круглый год в избе посреди березовой рощи. Место это — прямо из волшебной сказки. Так и ждешь, что появится Снегурочка и пройдетя по саду. Мороз заморозил все вокруг, снег хрустит под ногами, небо глубокого синего цвета. Все застыло, ни одна веточка не шелохнется. Только пес Изюм несколько раз выскакивает во двор и со всех ног бежит обратно, чтобы свернуться ка-

лачиком у камина. Это единственная на моей памяти собака, которая как-то раз с гримасой отвращения отвернулась от кости, почти отмахнулась лапой — так она объелась на рождество. Мы и в самом деле объедаемся. Вот уже третий день подряд подают разные кушанья, которые просто невозможно не попробовать.

Мой сын Владимир спит в обнимку с собакой на коврик у камина. Каждые полчаса мы выходим за дровами и прогреть машину. Тебя мучают мысли о людях, сосланных в Сибирь. Ты представляешь, как они — плохо одетые, голодные — проводили долгие месяцы на страшном холоде, пытаешься выжить. И нам становится не по себе в нашем теплом и уютном доме...

В самые счастливые минуты ты всегда вспоминаешь о страшных временах, о войне, о тех, кому плохо...

В семьдесят третьем году мы едем в Западный Берлин через Польшу и Восточную Германию. Всю дорогу ты сидишь мрачный и напряженный. Возле гостиницы ты выходишь из машины, и тебе непременно хочется посмотреть Берлин — этот первый западный город, где мы остановимся на несколько часов. Мы идем по улице, и мне больно на тебя смотреть. Медленно, широко открыв глаза, ты проходишь мимо этой выставки невиданных богатств — одежды, обуви, машин, пластинок — и шепчешь:

— И все можно купить, стоит лишь войти в магазин...

Я отвечаю:

— Все так, но только надо иметь деньги.

В конце улицы мы останавливаемся у витрины продуктового магазина: полки ломятся от мяса, сосисок, колбасы, фруктов, консервов. Ты бледнеешь как полотно и вдруг сгибаешься пополам, и тебя начинает рвать. Когда мы наконец возвращаемся в гостиницу, ты чуть не плачешь:

— Как же так? Они ведь проиграли войну, и у них все есть, а мы победили, и у нас нет ничего! Нам нечего купить, в некоторых городах годами нет мяса, всего не хватает везде и всегда!

Эта первая, такая долгожданная встреча с Западом вызывает непредвиденную реакцию. Это не счастье, а гнев, не удивление, а разочарование, не обогащение от открытия новой страны, а осознание того, насколько хуже живут люди в твоей стране, чем здесь, в Европе...

В эту ночь ты не сомкнешь глаз. Ты произносишь как в

бреду обрывки фраз, потом долго молчишь. Война: потерявшиеся дети, сироты, собравшиеся в стаи, как волчата, — озлобленные и голодные, кочующие по обескровленной стране. Война: женщины, на которых легла вся тяжесть мужской работы, вдвойне придавив их. Война: блокада Ленинграда, долгие месяцы ужаса и отчаянного мужества, когда жизнь продолжалась несмотря ни на что, эти оркестры, составленные из стариков-музыкантов, играющих почти беззвучно, умирающих от голода и усталости. Война: несколько миллионов калек с непоправимо изувеченными телами и душами. Теперь ты сидишь у окна словно каменный и рассказываешь каким-то чужим голосом: мужчина тридцати пяти лет потерял обе руки и обе ноги. Таких называют "самовар". Его поднимают, переодевают, моют, кормят. Его укладывают в кровать, похожую на коробку, а он не спит. Утром его усаживают на специальный стул на высоких ножках — такой, будто детский стульчик. Его жена, которой принесли с войны этот мешок страданий, ухаживает за ним, выходит к нему. Ей сообщили, что ее беспомощный муж проживет еще сто лет. Он здоров, сердце, освобожденное от обязанности подводить кровь к рукам и ногам, будет биться еще очень долго. Она любит его, она хочет, чтобы он жил, даже такой ценой. Поначалу он отказывается говорить. Но вдруг однажды вечером он начинает задавать вопросы о доме, о жизни в квартале. Женщина счастлива, что ему это интересно, и рассказывает о каких-то наполовину придуманных событиях, происходящих у соседей и во дворе.

Жизнь идет своим чередом, квартал отстраивается заново. Играют свадьбы. Мужчина говорит, что он хочет сам посмотреть, как люди живут, только вот как бы это устроить? Из своей коробки и даже со стула ему ничего не видно. Женщина подтаскивает его к окну. Так он может смотреть на солнце, на цветущие деревья. Это весна. Мужчина внимательно разглядывает набухшие почки, окна, отмытые от приклеенных на зиму полосок бумаги. Он смотрит, как внизу, во дворе играют дети. Пригревает солнце, и их постепенно раздевают, как луковички, от тяжелых зимних одежек... Соседи привыкают видеть за окном лицо мужчины. Становится теплее, можно открывать окна. Сильная женщина заботливо усаживает беспомощного мужчину в высокий стульчик у окна. Она уходит на работу, за ней закрывается дверь. Мужчина наклоняется, цепляется зубами за занавеску в цветочек, нечеловеческим усилием вынимает себя из стула, раскачивается, пе-

реваливается через подоконник и, разжав зубы, навсегда освобождается от обязанности жить.

*Кто сказал: "Все сгорело дотла,
больше в землю не бросите семя..."
Кто сказал, что Земля умерла?
Нет, она затаилась на время...*

*Материнства не взять у Земли,
не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что Землю сожгли?
Нет, она почернела от горя.*

*Как разрезы, траншеи легли,
и воронки – как раны зияют.
Обнаженные нервы Земли
неземное страдание знают.*

*Она вынесет все, переждет,
не записывай Землю в калеки.
Кто сказал, что Земля не поет,
что она замолчала навеки?!*

*Нет! Звенит она, стоны глуша,
изо всех своих ран, из отдушин,
ведь Земля – это наша душа,
сапогами не вытоптать душу.*

*Кто сказал, что Земля умерла?
Нет, она затаилась на время...*

В праздник Победы мы смотрим хронику военного времени. Немецких пленных ведут по московским улицам. Длинная колонна движется медленно, люди в грязной изорванной одежде, многие ранены, некоторые очень молоды – почти дети, но есть и старики. Они идут с поникшими головами, глядя себе под ноги. В нескольких метрах позади них – поливальные машины, смывающие с улиц их следы. На тротуарах – толпы людей. На лицах – все чувства народа-победителя, прошедшего через годы страданий, неприязни, ненависти и злобы. Некоторые плачут, вспоминая, наверное, о пережитом. И все-таки на улицах тихо. Ни криков, ни проклятий. Только струится вода, отмывая землю от скверны.

Вдруг какая-то женщина отделяется от толпы, подходит к немецкому подростку. Кажется, что она сейчас ударит его. На она вынимает из-под болтающегося на ней мужского пиджака горбушку хлеба и протягивает ее ребенку. Я никогда не забуду выражения лиц пленных — это были стыд и недоверие, а потом — удивление и благодарность. Они идут мимо и, не имея возможности даже на секунду остановиться, повернули назад головы, еще долго провожая глазами женщину, которая простила их.

Однажды вечером ты возвращаешься навеселе и, свалившись на диван, сообщаем мне:

— Я был у Хрущева.

На мой удивленный взгляд ты отвечаешь, что Хрущев, с тех пор как потерял власть, живет недалеко от Москвы, что он попросту пригласил тебя и что тебе тоже было любопытно встретиться с этим человеком, который был главой Советского Союза и некоторым образом способствовал либерализации искусства, а главное — сделал доклад о преступной деятельности Сталина. Ты взял гитару и отправился к нему. На столе были пироги и, конечно же, ледяная водка — Никита Сергеевич любит выпить. Он немедленно задает тебе кучу вопросов. Что ему интересно — так это знать, как ты пишешь песни о войне. Он предполагает, что фронтовики много рассказывали тебе о ней. Когда ты объясняешь ему, что все, что ты пишешь, появляется почти без сознательного усилия, что тебе надо только влезть в шкуру персонажей, как актеру, чтобы рассказать о событиях, в которых, ты, естественно, не участвовал, — Хрущев очень удивляется.

Ты в свою очередь задаешь ему вопросы и поешь. В сумерках ты разглядываешь круглое раскрасневшееся лицо бывшего Первого секретаря. Ты спрашиваешь его о художниках-абстракционистах, выставку которых он приказал уничтожить бульдозерами. Он еще больше краснеет и, хлопнув себя руками по коленкам, прямо-таки взрывается:

— Меня обманули! Мне не объяснили, я-то ничего не понимал в живописи, я — крестьянин! — И, вздохнув, добавляет: — И вообще, мне сказали, что все они — п и д р а с ы.

Заканчивая рассказ об этой встрече, ты с грустью смотришь на меня:

— Кто знает, может быть, если бы с ним тогда кто-нибудь поговорил, вот как я сейчас, шестидесятые годы стали бы эпохой в развитии советского искусства.

И, отмахнувшись от этих оптимистичных мыслей, ты говоришь:

— Когда они там, наверху, их даже увидеть-то нельзя — не то что поговорить...

То, что все называют "китайским циклом", — это на самом деле несколько песен, написанных в шестидесятые годы. Песни эти вызвали такое неудовольствие китайского правительства, что тебе был запрещен въезд в Китай "до конца времен". Надо сказать, что ты и в самом деле в выражениях не стеснялся...

Возвращаясь из Парижа в Москву на машине, мы обсуждаем события, слово в слово вспоминаем все твои тексты. Невероятно! Кажется, что это — какая-то яркая хроника событий, сотрясающих великий Китай. И все сказано с провидением почти божественным — ведь ты писал эти песни за несколько лет до событий. Ты и сам себе удивляешься. Приехав в Москву, ты зовешь друзей и не без гордости сообщая им:

— Я — ясновидящий.

И снова начинаешь петь песни "китайского цикла" к вящей радости присутствующих...

Среди твоих любимых артистов есть один, нежность к которому у тебя безгранична. Его зовут Енгибаров. Он молод, в нем все прекрасно. Он тоже своего рода поэт, он заставляет смеяться и плакать публику — и детей и взрослых. Этот волшебник украл пальму первенства у стареющего Олега Попова и других традиционных ковровых клоунов. Он работает в минорных тонах. Никаких тортов с кремом в лицо, красных носов, полосатых штанов, огромных ботинок. Разбивая тарелки, он переключает публику с бешеного хохота на полную тишину, а потом удивляешься, что у тебя стоит ком в горле, — и вот уже люди вынимают носовые платки, чтобы украдкой вытереть слезы. Этот удивительный атлет творит чудеса на арене, и если тебе удастся на несколько секунд сделать "крокодила на одной лапе", то он без видимого усилия может больше минуты оставаться в таком положении. Мы часто встречаемся в цирке в компании добряка Никулина, который так любит детей, что десятками катает их на своей машине по Москве. В ваших отношениях чувствуется взаимное восхищение.

Однажды тебе звонят, и я вижу, как у тебя чернеет лицо.

Ты кладешь трубку и начинаешь рыдать, как мальчишка, взахлеб. Я обнимаю тебя, ты кричишь:

— Енгибаров умер! Сегодня утром на улице Горького ему стало плохо с сердцем, и никто не помог — думали, что пьяный!

Ты начинаешь рыдать с новой силой.

— Он умер, как собака, прямо на тротуаре!

В каждый период твоей жизни у тебя был какой-нибудь закадычный приятель. За двенадцать лет их было семь. Меня поражало, как тебе необходимы их присутствие, общие секреты, сидение на кухне целыми ночами. Среди этих приятелей были: Иван — артист твоего театра — талантливый человек с неудавшейся судьбой, Володарский — друг детства и приятель по пьянке, впоследствии оказавшийся предателем. Еще один приятель-электронщик долго был у тебя звукооператором и, имея в своем распоряжении оригиналы твоих записей, торговал ими. Все эти люди были лишь лакеями, которых ты не сегодня-завтра оставлял в тени забвения.

Но один друг останется навсегда. Когда ты познакомишь меня с этим человеком, я уже знаю, что он вернулся оттуда, откуда не все возвращаются. Он был приговорен к бессмысленному сроку — сто семьдесят лет, амнистирован после XX съезда, но уже отсидев шестнадцать лет в лагерях. Шестнадцать лет каторги в Сибири из-за безобидного письма, где он цитировал опального поэта. Эти годы превратили моряка, влюбленного в русский язык, в человека, спасшегося из ада. Он выжил, этот крепкий мужик. Здороваясь со мной, он беззастенчиво протягивает мне свою изуродованную руку, которую, как я узнаю в тот же вечер из твоего рассказа, он положил в костер, где раскалялись инструменты для пыток, и сказал палачам: "Зря стараетесь. Меня бесполезно допрашивать". Это вызвало восхищение даже у них. Той же рукой в другом лагере на допросе после неудавшейся попытки бежать он страшным ударом разбил чугунную печь. Вместо руки остались клочья мяса. От этого зрелища передернуло даже тюремщиков.

У этого квадратного человека есть только одна слабость: он терпеливо каждое утро зачесывает от ушей наверх прядь волос, чтобы прикрыть лысину и создать впечатление прически. Когда поднимается ветер, эта прядь отстает от головы и развеивается, как флаг. Мы немножко подтруниваем над этим его кокетством. Он теперь — геолог, возглавляет брига-

ду бывших заключенных, для которых жизнь в городе стала невыносимой. Им не хватает простора, воздуха, свободы. Они живут большую часть года в огромной сибирской тайге. Вертолет забрасывает их туда с необходимой техникой для разведки ископаемых. Они строят временки, устраивают свою тяжелую, почти монашескую жизнь — без женщин, без водки. Работа изнуряющая, но за нее очень хорошо платят. Когда они возвращаются в Москву — это праздник, но лица их всегда остаются серьезными. Однажды они приходят к нам. Со слезами на глазах они слушают песни, написанные по их рассказам, кивают головами и, ни слова не говоря, сжимают тебя в объятиях. Между ними сложились удивительные отношения. Они понимают друг друга с полуслова. Один из них, неловко повернувшись, как-то оторвал себе пуговицу на пиджаке и попросил твоего друга ее пришить. Прежде чем я успеваю среагировать, тот берет иголку с ниткой и аккуратно пришивает пуговицу, продолжая разговор. У них нет ни начальников, ни подчиненных. Трагические годы, проведенные вместе, словно очистили их души. Нет больше тщеславия, ревности, желания казаться другим. Они по-настоящему просты и добры.

Со мной они не говорят о прошлом — стесняются. Но я знаю их истории из твоих песен — например, из песни об одной из многочисленных попыток твоего друга совершить побег. Ему за это и добавляли каждый раз срок до того, что ему надо было бы быть бессмертным, чтобы до конца отсидеть его.

Группа из пятидесяти заключенных ушла на лесоповал довольно далеко от лагеря, стерегли их только трое вооруженных солдат с овчарками на поводках, и твой друг решает рискнуть. В бесконечной тайге, растянувшейся на тысячи километров, почти невозможно выжить, и охранникам это отлично известно. Видимо, поэтому они и не особенно ищут сбежавших. Надо только спрятаться в снегу и выждать время.

Твой друг видит, как пытается бежать один из его товарищей. Но его заметили, охрана кричит, спускает собак. Человек выпрямляется, делает несколько прыжков, свистит пуля, он заваливается совсем рядом от того места, где прячется твой друг — у него разmozжен череп. Собаки бросаются на труп, начинают слизывать мозг и так возбуждены кровью, что не чувствуют присутствия живого человека. Стражники увлаживают тело за ноги, оставляя на снегу кровавый след, по которому идут собаки, опустив вниз морды. Твоему другу удается продержаться несколько дней в этой ледяной пусты-

не, но потом его снова хватают, полумертвого от холода.

Другой рассказанный им случай из лагерной жизни не приснится и в кошмарном сне. Троице заключенным удается обмануть бдительность охраны. Они хорошо подготовились — у них есть ножи, еда, теплая одежда. Самый пожилой из них встретился в лагере с собственным сыном, которого не видел много лет. По иронии судьбы, он проклял этого сына, узнав от вновь прибывающих в лагерь, что тот работает в органах. И вот они оба — заключенные. Так часто случалось в те страшные времена: палачи сидели вместе с жертвами, и ужас каждого дня стирал прошлое, они становились ближе, один — потому что начинал вдруг понимать, что натворил, другой — потому что видел бывшего мучителя в свою очередь униженным и избитым, доведенным до животного состояния, — и тогда проходила злоба, и жертве становилось жаль палача. И потом, такая связь между ними давала все-таки этим людям без будущего хотя бы общее прошлое.

Примирившиеся отец и сын идут друг за другом, третий беглец — почти мальчик. Три поколения вязнут в бесконечном пространстве. Еда кончилась, они пробуют охотиться, но дичь здесь редка, а ножи — не самое удачное оружие для охоты. Глубокий снег мешает бежать, и три человека, ослабев, даже не стараются поймать редких зверьков, с которыми они вдруг сталкиваются в таежных зарослях. Отец, чувствуя приближение конца, заставляет двух молодых людей поклясться, что, когда он умрет, они разрежут его на куски и будут есть его мясо — "чтобы выжить и свидетельствовать", — говорит он. Старик умирает на руках у сына, успокоенный торжественной клятвой.

Они выжили, но свидетельствовать не смогли. Их ночи отравлены кошмарами, а дни навсегда переполнены ненавистью к слепой системе, которая сделала из них людоедов.

*Был побег на рывок —
Наглый, глупый, дневной.
Вологодского — с ног
И — вперед головой.*

*И запрыгали двое,
В такт сопя на бегу,
На виду у конвоя
Да по пояс в снегу.*

*Положен строй в порядке образцовом,
И взвыла "Дружба" – старая пила,
И осенили знаменьем свинцовым
С очухавшихся вышек три ствола.*

*Все лежали плашмя,
В снег уткнули носы,
А за нами двумя –
Бесноватые псы.*

*Девять граммов горячие,
Как вам тесно в стволах!
Мы на мушках корячились,
Словно как на колах.*

*Нам – добежать до берега, до цели,
Но свыше – с вышек – все предрешено.
Там у стрелков мы дергались в прицеле –
Умора просто, до чего смешно.*

*Вот бы мне посмотреть,
С кем отправился в путь,
С кем рискнул помереть,
С кем затеял рискнуть...*

*Где-то виделись будто.
Чуть очухался я,
Прохрипел: "Как зовут-то
И какая статья?"*

*Но поздно, зачеркнули его пули
Крестом – затылок, пояс, два плеча.
А я бежал и думал: "Добегу ли?" –
И даже не заметил сгоряча.*

*Я к нему, чудаку, –
Почему, мол, отстал?
Ну, а он – на боку
И мозги распластал.*

*Пробрало! – телогрейка
Аж просохла на мне.*

*Лихо бьет трехлинейка,
Прямо как на войне.*

*Как за грудки, держался я за камни,
Когда собаки близко – не беги.
Псы покروпили землю языками
И разбрелись, слизав его мозги.*

*Приподнялся и я,
Белый свет стервеня,
И гляжу – кумовья
Поджидают меня.*

*Пнули труп: "Сдох, скотина,
Нету проку с него.
За поимку – полтина,
А за смерть – ничего".*

*И мы прошли гуськом перед бригадой,
Потом – за вахту, отряхнувши снег.
Они – обратно в зону, за наградой,
А я – за новым сроком за побег.*

*Я сначала грубил,
А потом перестал.
Целый взвод меня бил –
Аж два раза устал.*

*Зря пугают тем светом –
Тут – с дубьем, там с кнутом.
Врежут там – я на этом,
Врежут здесь – я на том.*

*А в промежутках – тишина и снега,
Токуют глухари, да бродит лось...
И снова вижу я себя в побеге,
Да только вижу, будто удалось.*

*Надо б нам вдоль реки, –
Он был тоже не слаб,
Чтоб людям не с руки,
А собакам – не с лап.*

*Вот и сказке конец,
Зверь бежал на ловца.
Снес, как срезал, ловец
Беглецу пол-лица.*

*Я гордость под исподнее упрятал,
Видал, как пятки лижут гордецы.
Пошел лизать я раны в лизолятор —
Не зализал, и вот они, рубцы.*

*Все взято в трубы, перекрыты краны,
Ночами только воют и скулят.
Но надо, надо сыпать соль на раны.
Чтоб лучше помнить. Пусть они болят.*

Мы в Париже, это семьдесят восьмой год. Я смотрю по телевизору передачу об охоте на волков с вертолета. В фильме, снятом в Сибири, показано, как уничтожают стаю волков. Обезумевшие животные стараются зарыться в снег, поднимают искаженные отчаянием морды к ревущим машинам, откуда дождем льется смерть. Вскоре снег покрывается длинными кровавыми дорожками. Почти никто не уцелел в этой бойне.

По телефону я пересказываю тебе фильм. Ночью ты пишешь песню "Охота с вертолета" — продолжение и в каком-то смысле заключение "Охоты на волков".

*Словно бритва, рассвет полоснул по глазам,
Отворились курки, как волшебный Сезам,
Появились стрелки, на помине легки, —
И взлетели стрекозы с протухшей реки,
И потеха пошла в две руки, в две руки.*

*Мы легли на живот и убрали клыки.
Даже тот, даже тот, кто нырял под флажки,
Чуял волчьи ямы подушками лап,
Тот, кого даже пуля догнать не могла б, —
Тоже в страхе взопрел — и прилег, и ослаб.*

*Чтобы жизнь улыбалась волкам — не слышал.
Зря мы любим ее, однолюбы.
А у смерти — красивый широкий оскал
И здоровые, крепкие зубы.*

*Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу –
Псам еще не намылены холки.
Но – на татуированном кровью снегу
Наша роспись: мы больше не волки!*

*Мы ползли, по-собачьи хвосты подобрал,
К небесам удивленные морды задрал:
Либо с неба возмездье на нас пролилось,
Либо света конец, и в мозгах перекоп –
Только били нас в рост из железных стрекоз.*

*Кровью вымокли мы под свинцовым дождем –
И смирились, решив: все равно не уйдем!
Животами горячими плавил снег.
Эту бойню затеял не Бог – человек:
Улетающих – влет, убегающих – в бег.*

*Свора псов, ты со стаей моей не вяжись –
В равной сваре за нами удача.
Волки мы! Хороша наша волчья жизнь.
Вы – собаки, и смерть вам – собачья!*

*Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу,
Чтобы в корне пресечь кривотолки.
Но – на татуированном кровью снегу
Наша роспись: мы больше не волки!*

*К лесу! Там хоть немногих из вас сберегу!
К лесу, волки! Труднее убить на бегу!
Уносите же ноги, спасайте щенков!
Я мечусь на глазах полупьяных стрелков.
И скликаю заблудшие души волков.*

*Те, кто жив, – затаились на том берегу.
Что могу я один? Ничего не могу!
Отказали глаза, притупилось чутье...
Где вы, волки, бывшее лесное зверье,
Где же ты, желтоглазое племя мое?!*

*Я живу. Но теперь окружают меня
Звери, волчьих не знавшие кличей.
Это – псы, отдаленная наша родня,
Мы их раньше считали добычей.*

*Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу,
Обнажаю гнилые осколки.
А на татуированном кровью снегу
Таёт роспись: мы больше не волки!*

Через несколько дней меня приглашают на просмотр фильма Криса Маркера "В воздухе — красный цвет!". Последние кадры фильма — это та же охота на волков. Совпадение пугающее... Я рассказываю Крису историю песни. Он просит у меня текст, переводит его и пускает в начале своего великолепного документального фильма.

Венгрия, конец семьдесят седьмого года. Погода пасмурная, большие тучи нависли над аэропортом. Я жду тебя уже два часа — ты должен прилететь в Будапешт на съемки фильма, где снимаюсь и я. Самолет опаздывает, и, как всегда в Восточной Европе, нам не дают никаких объяснений. Вдруг мы слышим свист турбин. В маленьком зале ожидания, где сбились в кучу люди, все поднимают глаза к потолку и наконец устремляются наружу. Холодный воздух щиплет нас за щеки. Самолет обледенел в холодном тумане и, отяжелев, едва не задевает при снижении контрольную вышку. По толпе пробегает ропот. Я говорю про себя: "Черт, еле прошел!" Самолет снова с трудом набирает высоту, перегруженные турбины ревут. Мне страшно, ты — там, и все так ненадежно. После трех акробатических полетов над аэродромом самолет исчезает. По-венгерски сообщают, что рейс № 602 не сядет в Будапеште, что пассажиров привезут поездом завтра утром в пять часов тридцать минут. Я узнаю обо всем этом из сюрреалистической беседы, когда на мой непонятный для них русский мне отвечают по-немецки, который я плохо понимаю. Венгры терпеть не могут говорить по-русски, зато охотно отвечают на немецкую речь. Вечером следующего дня мы должны снять единственную нашу с тобой сцену в фильме. Режиссер Марта Месарош дает тебе маленький эпизод. Мы оба рады — ведь мы еще никогда не снимались вместе. Но вскоре это становится не так весело, потому что у тебя только два дня свободных, а плохая погода отнимает у нас еще и ночь. Мы уже много недель не виделись. За это время столько всего накопилось...

Я еду в гостиницу, чтобы немного поспать. Я хочу быть красивой для этой двойной встречи — в жизни и на экране.

Ровно в пять тридцать поезд подходит к вокзалу. Я в шу-

бе, но страшно мерзну, может быть, просто не выспалась. Я вижу тебя в конце платформы — бледного, с двумя огромными чемоданами, которые я не узнаю. Ты улыбаешься мне и в отчаянии киваешь на потрясающей красоты негритянку, которая выходит из вагона следом за тобой. Она — из джазовой группы, приехавшей на гастроли в Будапешт. Вы с ней целую ночь проболтали в поезде. И конечно, ты не в силах сопротивляться женскому очарованию! Мне все же удастся изобразить улыбку, и, так и не обняв тебя, я иду рядом в компании этой красавицы до дверей вокзала.

Из-за этой испорченной встречи я нервничаю, и мне не удастся скрыть свое настроение. Я никогда не знаю, каким увижу тебя после длительной разлуки. Мы живем в таких разных странах, в таких разных мирах, что нам необходимо время, чтобы снова привыкнуть друг к другу. Нам еще нужно заехать на студию, взять текст (мы играем на русском), немного порепетировать сцену. У меня очень болит голова, и от твоего отсутствующего вида мне становится совсем грустно. Я на всякий случай тайком принохиваюсь, но от тебя не пахнет водкой, и я уже ничего не понимаю. Ты смотришь как-то сквозь меня, и в твоих глазах меня пугает какая-то пустота.

Сцену должны снимать на маленькой деревенской улочке. С утра идет снег, и вокруг белым-бело и очень тихо. Проекторы оставляют на снегу большие желтые пятна. Сцена проста: я играю замужнюю женщину, которую в субботу вечером пригласил в кино товарищ по работе. Мы выходим из кино, болтаем, и вдруг, ни с того ни с сего ты целуешь меня. Я смеюсь, ты обижаешься, я говорю тебе, что впервые поцеловала не мужа и что это оказалось не так уж неприятно. Я оставляю тебя стоять с удивленно-разочарованным выражением лица и ухожу. Стоп-кадр.

Мы снимаем несколько дублей. Каждый раз случается чудо — твои пустые глаза загораются хитринкой, моя мигрень исчезает, ты целуешь меня, и мы живем для камеры минуты, которые нам не удалось прожить на самом деле.

Прошло много лет. И только теперь я понимаю причину моего беспокойства. Холодная паника, которую я увидела тогда у тебя в глазах, возникает у наркоманов, когда они вовремя не получают своей дозы наркотика.

А между тем на экране мужчина страстно влюблен в женщину, и она равнодушна к нему.

Мы оба — дети города. Улица была нашей первой площадкой для игр. Ты вырос в самом центре Москвы, я — в Париже. Но в девять лет ты попадаешь в Германию, в маленький городок среди лесов и полей. Ты живешь там как кум королю, тебя балует твоя мачеха тетя Женя. Тебе дарят овчарку, и ты гуляешь с ней в лесу... Я только в пятнадцать лет переезжаю в Мезон-Лаффит, под Париж, и начинаю действительно любить деревню и деревья — я их много посадила в саду возле дома. Каждый раз, возвращаясь из путешествий, я привожу с собой в мокрых тряпицах какой-нибудь саженец.

С первого приезда в Москву у меня появляется желание купить дом за городом. Но тут я сталкиваюсь с почти неразрешимой проблемой: иностранцам запрещено выезжать дальше чем за сорок километров от Москвы — только по специальному разрешению. К тому же дом недалеко от города стоит бешеных денег, да их просто и не продают. И я оставляю эту мысль. Еще в начале нашей с тобой жизни, возвращаясь от друзей с их дач из Подмосковья, мы каждый раз принимаемся мечтать и даем себе слово купить однажды собственный дом. За несколько лет мы пересмотрели множество домов. Однажды нам предложили дом с участком в двадцать соток, выходящим к реке, где растут березы и ели. Мы начинаем рисовать проекты домика, обсуждаем возможные варианты. Мне хочется, чтобы был камин и большая кухня, выходящая в гостиную. Ты хочешь, чтобы был чердак, где можно работать. Мы мечтаем о вечерах, которые мы проводили бы без соседей — ты бы играл на гитаре, мы бы пели... Мы мечтаем о купании летом, о зимних прогулках, мы бродим вдоль реки, любуясь великолепием этого девственного уголка, который все же так близок от большого города. Увы! Очень быстро нам придется отказаться от этой затеи: оказывается, в пятистах метрах от дома находится станция радиоперехвата, а мы все никак не могли понять, что это там за металлические антенны, огороженные решетками и кустами. Естественно, иностранцам жить в таком месте не положено.

В другой раз мы едем смотреть маленькую старую избу, выкрашенную в голубой и белый цвета, с огородом, за которым любовно ухаживает сам дедушка семейства, который и продает дом. Мы возвращаемся сюда несколько раз, я влюбилась в эти места. Мы пьем чай с изумительным домашним вареньем. Потихоньку топится большая изразцовая печь. Одна из комнат под крышей будет твоим рабочим кабинетом. Мы строим планы, мы хотим снести перегородки и сделать

на первом этаже одну большую комнату. У крыльца растет огромная старая береза, и мы уже представляем себе, как хорошо сидеть под ней в тени в самый разгар лета и пить очень холодный малиновый сок, рецепт которого мне дал старик...

Сделка заключена. Одним весенним утром мы приезжаем. Деньги у меня в сумочке. Но по грустному лицу деда мы догадываемся, что что-то опять запретили. Нам объясняют, что в этой деревне живут в основном военные и поэтому присутствие здесь одиозной личности с иностранкой невозможно. Мы уходим из сада со слезами на глазах. У меня остается только фотография, где старик, улыбаясь, протягивает мне охапку только что срезанных цветов.

Отчаявшись найти выход, я решаю во время путешествия в Америку купить домик на колесах. Мы видели эти домики на выставке-продаже, и тебе очень захотелось купить такой — компактный, с душем, кухней и системой отопления на случай холодов. Ты воображаешь себе путешествие по России, а потом можно поставить его где-нибудь у друзей под Москвой, чтобы там и жить. Мы подсчитываем все преимущества: свобода передвижения, удобство, умеренная цена на бензин в СССР. Ты загорелся, ты даже находишь советский грузовой корабль, где у тебя друг — капитан, чтобы доставить фургон до Одессы. Но выяснилось, что он стоит целое состояние. За годы путешествий я растратила последние сбережения, и, поскольку я все меньше и меньше снимаюсь, такая покупка просто-напросто превышает мои возможности. И тогда появляется идея построить домик на участке у кого-нибудь из друзей.

Единственный человек среди наших знакомых, у кого есть дача с большим садом, — это твой друг детства Эдик Володарский. Он сразу же соглашается уступить нам часть своего участка. Я рисую план: гостиную с камином и кухней, две комнаты, ванную, винтовую лестницу на чердак... С южной стороны будет терраса. Все — деревянное и небольших размеров.

Это семьдесят восьмой год. Начинается эпопея, о которой мы даже не имеем представления. В этой стране невозможно приобрести законным образом элементарного гвоздя или самой обычной доски. Поэтому тебе приходится исколесить весь город и пригороды вдоль и поперек, чтобы найти стройматериалы. Ты их покупаешь, переплачивая, по блату. Ты даешь концерты на каждом заводе, в каждом учреждении, на складе, откуда тебе их выносят. Тебе удается получить все

необходимое — от фундамента до крыши: фундамент в два дня заложила бригада строителей, которая делала гаражи для какого-то санатория рядом. Крышей занимались рабочие сцены из твоего театра. Забор был с какой-то стройки, и нам продали его чуть ли не на вес золота. После концерта в Московском клубе газовщиков нам подводят газ. После еще одного концерта нам положили паласы. С грехом пополам подобранную по цвету сантехнику мы привозим на машине "скорой помощи", договорившись с шофером. То есть абсолютно все мы получаем только по блату. И без блата у нас бы не было ничего.

Обычно речь идет не столько о деньгах, сколько об обмене. Один концерт — за десять метров паласа (обычным путем его можно получить лишь по записи, и то надо долго ждать). Здесь вообще меняется поступление в институт на иностранную машину, несколько бутылок виски на установку лобового стекла, билеты в театр на свежие овощи зимой и так далее.

Все лето я варю огромные кастрюли борща для рабочих. Они живут прямо здесь, на участке, и каждое утро я привожу полную машину продуктов. Ты приезжаешь под вечер и иногда поешь ко всеобщему удовольствию. Работа потихоньку продвигается, надо бы закончить до зимы, но возникает столько разных трудностей, что мы решаем приостановить строительство до весны. Домик представляет собой пока что только каркас, но у него уже есть крыша и окна. Мы прибиваем доски вместо дверей, дав себе слово в семьдесят девятом году справить новоселье. Я уезжаю из Москвы с длинным списком вещей, которые я должна буду привезти в следующий раз. К счастью, в последнюю минуту у тебя появляется хорошая идея. Один из наших друзей, Олег, возвращается из Лондона в Москву, и у него есть право привезти с собой контейнер с мебелью. Таким образом, мы можем привезти все, что нужно для дачи.

Я еду в Лондон, а там как раз началась сезонная распродажа, и все ринулись за покупками. Три дня подряд с утра до вечера я провожу в магазинах в неопикуемой толпе и покупаю все, чем можно обставить и украсить нашу дачу. Салон в английском стиле, лампы, кровати, все домашнее белье, огромный холодильник, который, как ты просил, постоянно выдает кусочки льда. Еще я покупаю посуду, духовку, кухонный комбайн. Одним словом, я совершенно разоряюсь, но ужасно счастлива, представляя себе, как ты обрадуешься.

Когда я приезжаю назад и снова принимаюсь за строительство дачи, вся морока начинается сначала. Мы обнаруживаем, что батареи вовремя не прочистили и они лопнули зимой — значит, придется менять. Большие щиты из прессованных опилок разбухли от влаги, и нужен компрессор для просушки, который мы достаем на "Мосфильме". Когда его включают в сеть, во всем поселке вылетают пробки. Кафель неопределенного цвета, который предназначался для ванны, побился почти весь, пока его перевозил в доску пьяный шофер. Но потихоньку наша постройка начинает становиться похожей на настоящий дом. К концу семьдесят девятого года приезжает мебель. Я провожу целые дни одна, расставляя все в доме, но меня вызывают во Францию на съемки, и я уезжаю. Справить новоселье нам так и не удается.

Весной восьмидесятого года все готово, но из-за твоего тяжелого состояния мы проводим лишь двое суток на даче, о которой столько мечтали. Все эти усилия, все потраченные деньги, все эти вещи никогда нам не послужат. Две короткие ночи, несколько часов уединенной работы, множество планов и надежд — и все обрывается.

В конце концов этот дом — предмет вожеления твоих бывших друзей, которые считают, что он принадлежит им, потому что построен на их территории, — окончит жизнь под ножом бульдозера, который подгонят туда со злости после долгих базарных споров между твоей семьей, хозяевами участка и моими представителями. Мебель будет продана, а все вещи окажутся в доме твоих бывших друзей. Я хотела отдать дом твоим детям, но у владельца участка были другие планы. Увидев, что им не удастся присвоить дом, они разрушили то, чем не смогли завладеть. Осталось всего лишь несколько фотографий, сделанных в сентябре восьмидесятого. Глядя на них, я не могу не думать о том, что, может быть, если бы нам с самого начала разрешили купить дом в деревне, это на несколько лет продлило бы тебе жизнь...

Мой второй муж, Жан-Клод Бруйе, владелец авиакомпании в Африке, пилот и добрый человек. Вы крепко подружились с ним.

На первый взгляд вы никак не должны были бы друг другу понравиться: во-первых, из-за меня, во-вторых, из-за ваших непростых и сильных характеров. И потом, один — антикоммунист до мозга костей, а другой приехал прямо из России; один — предприниматель, другой — артист. Вдобавок

ко всему ни ты не знаешь французского, ни он — русского. И все-таки мало кого из людей связывала такая дружба. Твоя разбитая гитара навсегда осталась висеть на стене в доме Жан-Клода. Он приглашал нас к себе, и всегда наша жизнь на островах в Тихом океане была чем-то вроде медового месяца.

Последний раз мы были приглашены на четвертую свадьбу Жан-Клода и должны были встретиться на Таити. Я вылетаю туда из Парижа, ты приедешь позже, после концерта в Калифорнии.

Праздник в самом разгаре. Со всех островов приехали музыканты и танцоры. Мои сыновья Игорь, Петя и Владимир ждут тебя с тем же нетерпением, что и Жан-Клод.

Нас огорчает твоя телеграмма: ты не получил визы на Таити и ждешь нас в Лос-Анджелесе. Но свадьба на Таити — это так красиво! День и ночь — музыка, танцы. Мои дети и друзья — на седьмом небе от счастья.

Через две недели мы уезжаем с Жан-Клодом и его женой в США. Ты нас встречаешь в аэропорту с полными руками подарков — деревянной посудой, шальями, твоими последними пластинками. Жан-Клод снимает свои драгоценные часы и отдает их тебе. Ты никогда раньше не носил часов, но эти останутся у тебя до последнего дня.

До возвращения в Москву еще остается две недели. Мы проводим их у приятеля, Майка Миша — композитора фольклорной музыки. У него чудный дом на берегу океана. Его красавица лайка составляет нам компанию. У Майка есть небольшая студия звукозаписи, в которой ты проводишь целые дни. Я не знаю, что и думать — ты не ешь, не спишь, ты говоришь без умолку. Между тем, имея в прошлом тяжелый опыт борьбы с наркоманией моего старшего сына, я должна была бы понять эти явные признаки. И потом, возникает еще одна проблема. Мы долго не виделись, но, встретившись наконец, мы засыпаем, нежно обнявшись — и только. Меня охватывает еще неясное беспокойство, но я уговариваю себя, что это пройдет, и разыгрываю беспечность, стараюсь смеяться, вожу тебя в маленькие китайские ресторанчики, в кино. Мы видимся с моим двоюродным братом Игорем, он — художник, и его многочисленная семья тепло принимает нас. Мы долго гуляем по пляжу, по берегу океана, смотрим, как взлетают на волнах досочки с парусами для виндсерфинга. Иногда ты пытаешься мне объяснить, что с тобой происходит, но сам запутываешься, да и мне не удается скрыть от тебя охватившего меня беспокойства. Хорошо

зная меня, ты боишься, как бы я что-нибудь с собой не сделала: я говорила тебе о моем непреодолимом отвращении к наркотикам — несколько лет они убивали у меня на глазах моего сына. Подсознательно я всем своим существом сопротивляюсь очевидности и — не вижу, не понимаю, не хочу понимать!..

А ты, наверное, рассчитывал на мою помощь — ведь с твоим пьянством мы боролись вместе. Мы перепробовали все. Я пыталась пить вместе с тобой, но очень быстро это двойное падение привело нас на грань помешательства. Водка нас объединяла лишь в короткие мгновения эйфории, чтобы затем оторвать нас друг от друга. Тогда мы решили больше не держать спиртного в доме.

Однажды мне приходит в голову, что мы с тобой должны быть в равном положении, и мне тоже зашивают эспераль. Мы больше не можем пить — ни ты, ни я. Но для меня это небольшая жертва: я пью только для забавы, для меня в этом нет никакой необходимости, и ты почти сердисься на меня за то, что мне это так легко. Когда врачи говорят тебе, что сигареты опасны для твоего уже большого сердца, я немедленно прекращаю курить: кладу на стол пачку, начатую утром, вынимаю из сумочки две другие, кушленные на вечер, и говорю тебе, что к сигаретам я больше не прикасаюсь. Этот мой поступок подействовал на тебя тяжело — ты бесишься от того, что сам не можешь даже ограничить курение. Ты сердисься на меня, но я ничего не замечаю, я не вижу, как замыкается порочный круг. Меня охватила дурацкая гордость за мою силу воли. Но ведь обычному уравновешенному человеку ничто не мешает остановиться. Очень просто выбрать жизнь, когда не притягивает к себе смерть. Очень легко вести себя по всем правилам, если ты не опальный поэт, лишенный признания.

Я отношу твоё охлаждение ко мне за счет усталости, обычной для супружеской пары, прожившей вместе больше десяти лет. Я не знала тогда, что это — из-за морфия. И главное — ты, очевидно, отчаялся выжить, и это было как бы высшим отказом существа, готовящегося уйти из жизни. Я узнаю — потому что все в конце концов узнается — о твоих многочисленных изменах. Просто больная от ревности, я не понимаю того, что все это — отчаянные попытки уцепиться за жизнь, доказать себе самому, что ты еще существуешь. Я не слышу того, что ты пытаешься мне сказать. Это — тупик. Ты кричишь о главном, я вижу лишь то, что на поверхности. Ты стонешь о своей любви — я вижу только измену.

Я осознаю страшную действительность лишь тогда, когда уже ничего нельзя поправить. Твое измотанное сердце перестает биться. В первый раз — двадцать пятого июля семьдесят девятого года, на концерте в Бухаре. Ты падаешь на сцене. Прямой укол в сердце возвращает тебя к жизни. Год спустя — день в день — двадцать пятого июля восьмидесятого встреча со смертью состоялась. Я помню, как ты однажды сказал мне:

— Ты же видишь, я ей не нужен — этой величественной даме в черном. Я тоже не очень-то тороплюсь познакомиться с ней.

Между тем ты сделал все, чтобы подготовиться и не опоздать на свидание.

Одесса, шестьдесят восьмой год. Ты снимаешься в одном из своих самых удачных фильмов "Служили два товарища", ты играешь белого офицера, который под конец фильма после жестоких боев решается уплыть на пароходе и навсегда покинуть Россию. Твоя великолепная белая лошадь бросается в море вслед за кораблем... Эту роль ты особенно любил, в ней был показан человек ранимый, дошедший до отчаяния, но, несмотря ни на что, сильный и гордый до конца. Он кончает жизнь самоубийством лишь потому, что понимает: рухнул целый мир и жизнь потеряла смысл. Но в окончательном варианте фильма эта идея исчезает. Осталось только несколько сцен — кстати, прекрасных — и какая-то недосказанность. Цензура, почувствовав успех этой роли, кромсала и резала! Героем фильма должен был быть, естественно, солдат Красной Армии...

Здесь же, в Одессе, ты сыграл одну из больших ролей, на этот раз для телевидения. Пятисерийный фильм, рассказывающий о работе милиции в сороковые годы. Популярность у фильма была такая, что город вымирал, когда шла очередная серия. К тому же это был один из немногих твоих "положительных персонажей". Потому что обычно ты играл негодяев. Но что бы "они" ни делали, ты нравился публике, даже — а может быть, больше — "вне закона", потому что это более соответствовало представлению о тебе людей, которые слушали твои первые песни, рассказывающие о жизни уличных московских мальчишек, хулиганов, воров, шпаны. Кроме того, ограничивая тебя этим амплуа, "они" — как всегда говорят в СССР о государственных чиновниках — лишь усилили этим твою популярность. С течением лет в твоей поэзии стали возникать более глубокие темы. Ты играл другие

роли. И -- худо-бедно -- "они" в конце концов разрешили тебе сыграть в "Каменном госте". Эта последняя роль поставила все проблемы, которые можно найти в твоих последних стихах: преодоление себя, болезненный вопрос о смысле жизни, возмущение произволом, фрондерский юмор в ответ на нехватку свободы, вызов. И в конечном итоге принесение в жертву собственной жизни.

— Уехать из России? Зачем? Я не диссидент, я -- артист.

Ты говоришь это в Нью-Йорке во время знаменитой передачи Си-би-эс "Шестьдесят минут". У тебя покраснело лицо и побелели глаза -- видно, как ты раздражен.

"Я работаю со словом, мне необходимы мои корни, я -- поэт. Без России я -- ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет. Без публики, которая меня обожает, я не могу жить. Без их любви я задыхаюсь. Но без свободы я умираю".

Естественно, этого ты не говоришь, эти фразы, связывающиеся друг с другом в течение времени, я собираю из наших разговоров. В них заключены двенадцать лет доверительных бесед, криков, признаний, разрывов. Эти мысли есть почти во всех твоих песнях. Когда важный чиновник американского телевидения спрашивает у тебя, почему ты не остаешься и, главное, как ты попал сюда, тебе так же трудно ответить ему, как и важному чиновнику из ОВИРа, который спрашивает: "Зачем вы все время ездите туда? Вам что, здесь места не хватает?"

Это двойное противоречие безвыходно. Может быть, сначала все было проще. Молодым человеком ты мечтал, как и тысячи советских людей, о странах "за бугром" -- о Франции, Соединенных Штатах, а может быть, и о более экзотических краях, о Новой Зеландии например. Даже и думать нечего было туда попасть, этого не мог никто, разве что какие-нибудь дети дипломатов. Страны с той стороны "железного занавеса" были в пятидесятых-шестидесятых годах другой планетой. Когда мы с тобой встретились, ты начал мечтать о путешествиях -- и сколько кругосветных путешествий мы совершили в наших бредовых мечтах по ночам! Вот, например: мы садимся на большой пароход во Владивостоке, плывем в Японию, стоим в портах Шанхая, Гонконга, Сингапура, Коломбо, потом -- Мадагаскар, потом мы огибаем Африку, Южную Америку...

Все это остается мечтами. Такие путешествия возвращают нам хорошее настроение, и на завтра мы готовы к встрече с

действительностью. Но о чем мы говорим серьезно — это о возможности для тебя однажды приехать в Париж. Довольно скромное желание, учитывая, что ты женат на француженке, но оно осуществится лишь спустя шесть лет, и то просто чудом. Шесть лет я делаю все возможное, чтобы ты получил визу на поездку — не на окончательный отъезд. Хотя, может быть, это было бы самое легкое для нас решение: два-три года ожидания с обычными трудностями — и "они" могли бы поздравить друг друга с тем, что наконец-то избавились от тебя...

На самом деле все не так просто. Во-первых, ты никогда не собирался уезжать. Во-вторых, мне претит сама мысль о человеке, потерявшем корни и связанном со мной чем-то другим, кроме уз любви. Ты оказался бы в этом случае как бы в плену. Я отлично знаю, что такое изгнание, — я родилась в семье эмигрантов. Но если быть сосланным означает быть иностранцем в чужой стране, то я не отношусь к этим людям. Мне не нужно убежать от себя, мне хорошо, где бы я ни была. И, лишённая чувства ура-патриотизма, я совсем не тоскую о Клиши-сюр-Сен, где я родилась. Но для тебя все начинается с этой первой трудности. Ты не в ладу с собой. Тебе хорошо только на Родине, несмотря на присущие этой жизни разочарования и глупости, доходящие до абсурда. За границей ты живешь лучше, в гармонии с окружением, с женой, с семьей, работой, но тебе скучно.

То есть ты в изгнании уже сам в себе, и этот внутренний разлад становится все заметнее. Чтобы жить со мной и воспользоваться однажды свободой, на которую ты надеешься, ты должен заглушить, затаить в самой глубине своего существа неуемную жажду свободы. Долгое время сцена, любовь, поэзия будут служить клапаном для твоего бьющего через край темперамента. Но после первой поездки за границу у тебя появляется чувство разочарования, отчаяния оттого, что и здесь ты не нашел решения проблемы. И уже практически ничто не в силах сдерживать твоих разрушительных импульсов. В этом и заключается парадокс, невообразимый для нормального здорового человека: имея, казалось бы, все, ты буквально тонешь в отчаянии.

Довольно быстро выясняется, что возможность выехать из СССР ничего не решает, лишь убыстряет падение. Пьяных загулов, которые время от времени можно себе позволить в Москве, на Западе не понимают, во всяком случае, в тех кругах, где мы обычно бываем. И за подобную выходку наказание здесь гораздо более жестоко: потеря уважения, работы,

права общаться с людьми. И это может показаться странным, но на Западе ты связан еще крепче, чем дома...

Человек, живущий в тоталитарном государстве, неловко чувствует себя даже в собственной шкуре. Он надеется найти на Западе окончательное разрешение всех проблем и избавиться от своих страхов. И вдруг понимает, что сам по себе Запад ничего не изменит в его жизни — у него лишь возникнет множество неведомых доселе обязанностей. Прибыль — это главное, эгоизм — закон жизни, и ужаснее всего то, что сам он здесь — никто и ничто. И ко всему прочему существует языковой барьер. Для поэта это смертельно. Ты словно стоишь двумя ногами на разных континентах, а они все дальше отходят друг от друга.

У тебя дома, в СССР, тебя понимают. Ты не признан официально, но зато любим публикой. Во Франции и вообще за границей ты всего лишь иностранец, в лучшем случае — любопытное существо, приводящее в восторг на вечеринке, или даже просто муж известной актрисы. Ты можешь делать все, что угодно, ходить куда угодно, как и всякий другой, только надо соблюдать два обязательных правила: иметь деньги и быть интересным для окружающих. Но после концертов на переполненных вопящих стадионах приятно ли видеть триста человек в зале — в основном советских дипломатов и изучающих русский язык? И как выжить при постоянной бдительности жены, друзей и постоянной необходимости контролировать свои поступки? Счастлив ты бываешь всего несколько дней, и вот тебя уже снова раздирают противоречивые желания. Дни начинают тянуться невыносимо долго, ты наконец с облегчением возвращаешься в Москву, но, как только проходит радость встречи с городом, с театром, с публикой, у тебя снова появляется непреодолимое желание уехать... И повсюду ты чувствуешь себя изгнанником.

Ты не можешь жить ни поднадзорно-свободным в Москве, ни условно-свободным на Западе. Ты выбираешь внутреннее изгнание. Шаг за шагом ты покидаешь сам себя.

С течением лет мы все чаще задаем себе вопрос, хорошо ли я сделала, что помогла тебе выехать? Ответ в твоем последнем стихотворении: "Я жив, двенадцать лет тобой храним". Твои стихи этого времени все же питаются опытом зарубежных поездок...

В тридцать лет ты был талантливым человеком, автором нескольких красивых песен. В сорок два года — ты Поэт, оставивший человечеству свое творчество.

На уже немного выцветшей фотографии человек десять сидят и стоят возле дома, и у всех — довольный и немного дурацкий вид людей, позирующих перед объективом в праздничный день. Много съедено — я три дня стояла у плиты, — много выпито. Мы с девочками в четыре голоса спели весь наш репертуар. Потом дети играли рок в саду. Ты тоже пел — долго, несмотря на усталость. На твоём бледном лице, усеянном каплями пота, было что-то вроде спокойствия, будто умиротворенность.

Открытый на все четыре стороны дом гудит сверху донизу. Только объевшиеся собаки спят животом вверх, несколько не смущаясь от всей этой суматохи. Этот праздник, который я бы хотела справлять каждый год, собирает всю нашу семью и друзей. Внуки — в полном восторге, потому что, приехав к трем часам дня, они все еще играют в саду. Уже давно ночь, и я уверена, что через много лет эти дети, которым сейчас от двух до двенадцати, будут помнить такие ночи, полные свободы. Нам кажется, что бабушка с нами, что вот сейчас она выйдет на крыльцо в черном костюме и розовой блузке и скажет своим воркующим голосом: "Дети, идите немножко отдохнуть. Посмотрите — мальчики все мокрые, а малышам наверняка хочется пирога. Идите сюда, мои хорошие"...

День жаркий, как это часто бывает в начале июня. Под деревьями образуются группы. Мы слушаем музыку, говорим о политике, в сторонке кто-то целуется. Некоторые, лежа на траве, блаженно засыпают в тени дубов. У всех ощущение тихого блаженства. Мы с сестрами носимся из дома в сад и обратно, чтобы вовремя накрыть чай, позвать детей, убрать со стола, и вдруг сталкиваемся вместе на кухне. Несколько секунд мы стоим, обнявшись, и улыбаемся друг другу.

Проходя мимо гостиной, я нахожу тебя лежащим на тахте. Мимо то и дело пробегают дети или проходит кто-нибудь из домашних с тарелками в руках... Ты привлекаешь меня к себе и, впервые за долгое время, нежно-нежно целуешь, и мы покачиваемся, обнявшись, будто убаюкивая друг друга.

К действительности нас возвращает одна моя подруга — нас ждут фотографироваться. Я смотрю сегодня на эту фотографию: у нас с тобой — заспанные лица, немного припухшие глаза, обезумевший вид счастливых людей. Сквозь ветки на лицах играют солнечные пятна. Фотоаппарат ухватил единственное мгновение, когда все в тени и только двое

остались будто в ореоле света — моя сестра Одиль и ты, Володя.

Почему этот город пахнет смертью? Может быть, потому, что он словно зажат между солоноватыми водами и небом — влажный и теплый, как чрево мира...

Ты нерешительно поднимаешься по шаткой деревянной лесенке и устало и умоляюще смотришь на меня. Я протягиваю тебе руку и подхватываю тебя уже в падении. Маленький катерок, который служит теперь вместо гондолы, должен отвезти нас в аэропорт. Гондольер остался прежним венецианским гондольером. Он понимающе улыбается и напевает вполголоса, ровно настолько громко, чтобы не слышать твоих стонов. Он догадался, что это — наша последняя прогулка. Для остальных — это первый день любви: в Венецию по традиции отправляются в свадебное путешествие.

Этой ночью было сказано все, и наконец между нами нет больше тайны.

Очевидно, после очередного срыва ты по преступному совету одного приятеля впервые вкальываешь себе морфий: физическая боль после самой жуткой пьянки — это ничто в сравнении с психическими мучениями. Чувство провала, угрызения совести, стыд передо мной исчезают как по волшебству: морфий все стирает из памяти. Во всяком случае, в первый раз ты думал именно так. Ты даже говоришь мне по телефону с мальчишеской гордостью:

— Я больше не пью. Видишь, какой я сильный?

Я еще не знаю цены этой твоей "силе". Несколько месяцев ты будешь обманывать себя. Ты прямо переходишь к морфию, чтобы на поддаться искушению выпить. В течение некоторого времени тебе кажется, что ты нашел магическое решение. Но дозы увеличиваются, и, сам того не чувствуя, ты попадаешь в еще более чудовищное рабство. С виду это почти незаметно: ты продолжаешь более или менее нормальную жизнь. Потом становится все тяжелее, потому что сознание уже не отключается. Потом все это превращается в кошмар — жизнь уходит шаг за шагом, ампула за ампулой, без страданий, потихоньку — и тем страшнее. А главное — я бессильна перед этим новым врагом. Я просто ничего не замечаю.

Теперь я знаю все. Ты осмелился произнести "запретные" слова.

Я наслаждаюсь этими минутами с болезненным ликова-

нием, как мог бы наслаждаться последними минутами жизни смертельно раненный человек. Мы снова вернулись к началу нашей любви. Мы больше не прячемся друг от друга, нам нечего друг от друга скрывать. Для нас с тобой это — последний глоток воздуха.

Ты всегда мечтал о Венеции, мы часто говорили о ней ночами. От влажного воздуха нас немного знобит, и, весь дрожа, ты прижимаешься ко мне. И все-таки мы счастливы, спокойны, вновь обретая доверие друг к другу. Голос гондольера перекрывает наш шепот — а мы шепчемся, как заговорщики... Ты закашлялся, и у тебя на лбу выступили крупные капли пота. Ты принимаешься вдруг говорить о нашем будущем: путешествия, работа, творчество, свобода. Ты мечтаешь приехать пожить во Франции полгода, заняться прозой. Ты говоришь мне, что обязательно поправишься, и чувствуешь сам, что это — конец.

— Я возьму себя в руки. Как только я приеду в Париж, мы начнем соблюдать режим, мы будем делать гимнастику, вся жизнь еще впереди.

В конце концов нам всего по сорок два года! Ты обещаешь, что к моему дню рождения в мае "все будет в порядке". Ты дрожишь сильнее, и я накидываю на тебя свою куртку. Но эта дрожь не от холода. В твоём сером лице живыми остались лишь пронзительные светлые глаза. Ты дышишь рывками и внимательно, стараясь ничего не упустить, разглядываешь величественный мертвый город — удивительной красоты особняки бледных тонов с отсыревшей, отваливающейся кусками штукатуркой и трещинами иногда через весь фасад, гниющие деревянные сваи вдоль канала... Венеция вся стоит на сваях. Чтобы построить город, люди умертвили тысячи прекрасных высоких деревьев, и они превратились теперь в скользкие трухлявые бревна...

Ты глотаешь украдкой какую-то таблетку, и тебе ненадолго становится легче.

Мы проплываем мимо кладбища, где находятся могилы многих знаменитых артистов. Ты говоришь: "Неплохо в качестве места вечного успокоения". Мы смеемся, потому что все, что связано со смертью, всегда было у нас поводом для сарказма.

Венеция потихоньку словно тонет в воде позади нас. Легкий туман затягивает море. Я начинаю вслух мечтать о каком-нибудь месте вне времени, вне мира, вне нашей реальности, где бы мы могли начать все сначала, вернуться к чистоте

нашего детства... Ты говоришь — не то смеясь, не то серьезно: "Смотри как бы нам тут совсем не потеряться, а то так можно никогда больше не найти цивилизации..."

Я с горечью замечаю: "Чего она стоит!" Катер задевает бревна, лестница скрипит у нас под ногами, я сжимаю тебя в объятиях, но ты спешишь, ты убегаешь. Чудо не свершилось, тебе остается девяносто дней жизни.

В десятый раз ты спрашиваешь меня:

— Когда мы пойдем к Симоне?

Как все советские люди, кроме разве что нескольких ворчунов из номенклатуры, ты считаешь ее самой знаменитой и самой красивой французской актрисой, и еще — самой смелой. В Москве хорошо знают Монтана и Синьоре.

Как все, ты очарован "Золотой каской". Ты знаешь, что я тоже особенно нежно отношусь к этой женщине, которая для меня словно старшая сестра. Я познакомилась с ней, когда мне выдавали премию Сюзанны Бьянкетти, — мне было пятнадцать лет. Меня награждали в присутствии такой крупной кинозвезды — и это переполняло меня гордостью и восхищением. Она сияла, ее удивительные глаза блестели ярче алмазов в форме сердца, которые болтались у нее на шее. Ее глубокий, немного гортанный голос смягчался легким журчанием прелестного дефекта речи. В свои тридцать лет она была в расцвете красоты. Позже в Сен-Поль-де-Вансе мы с ней долго общались. К тому времени и я повзрослела, наши отношения стали глубже. Из восхищенной девчонки я превратилась в восхищенную подругу. Она всегда поражала меня точностью и здравым смыслом суждений.

В это утро я наконец привожу тебя познакомиться с ней на съемки фильма режиссера Рене Аллио "Трудный день королевы". Когда я тебе сказала, что это в пригороде, в рабочем квартале, ты еще больше обрадовался. Чем ближе ты знакомишься с Парижем, тем больше он тебе нравится. Прием теплый. Съёмочная группа на всех широтах одинакова, при любом режиме. Ты выдерживаешь пристрастный допрос Симоны, которому она подвергает всех, кого видит впервые, и даже знакомых, уезжавших куда-нибудь надолго. Это смесь резких вопросов, острого любопытства и мягкости. Ты покорен. Чувствуется, что в этой даме пятидесяти двух лет не осталось ничего от той роковой женщины из знаменитых фильмов, но мужчины все равно в нее влюбляются, и именно потому, что она — по-настоящему человек. К тому же глаза ее

полны блеска и улыбка все такая же хищная.

Потом мы расстаемся, договорившись встретиться за ужином у нее дома. В машине я вижу, как ты напряжен. Ты чувствуешь себя не в своей тарелке, и я засыпаю тебя вопросами:

— Что случилось? Откуда это плохое настроение?

Ты не сразу отвечаешь:

— Ты видела эти дома? Это здесь называется рабочим кварталом?!

И снова — печаль, сожаление и гнев поднимаются в тебе.

— Все эти дома, где живут небогатые люди — ”эксплуатируемые”, как их у нас называют, — да у нас ни один аппаратчик не мог бы надеяться на лучшее! Этот квартал, эти краски, эти лавочки, эти машины!..

У тебя срывается голос. Я молчу, да и что скажешь?..

После долгой паузы твое лицо смягчается:

— Такая замечательная женщина! Она хитрая, она все поняла, и потом видно, что она любит приложиться к бутылочке.

И — после паузы:

— Она тоже...

Я не продолжаю этой темы. Я знаю, до какой степени давит на тебя теперь твое добровольное состояние непьющего.

Я буду встречаться с Симоной еще несколько лет. Тот ужин не состоялся: работа, поездки — в нашей профессии это обычное дело. Но встречаться мы всегда будем тепло и будем болтать, как если бы никогда не расставались. В семьдесят седьмом году ты приезжаешь на гастроли с ”Гамлетом” и остаешься немного дольше обычного в Париже. В один из свободных вечеров мы идем к Монтану и Симоне на площадь Дофин в ”каморку”, как они называют свою квартиру, окна которой выходят прямо на тротуар оживленной улицы.

Это — уютная обжитая квартира. Здесь множество фотографий и сувениров, привезенных с гастролей, со съемок, из поездок. В квартире всегда живет кто-нибудь из посторонних — какие-то беженцы, люди без родины, странные путешественники всех национальностей. Единственное, что их сближает, — это страдание от несправедливости, которая убивает их морально или физически. Здесь они находят внимательных слушателей, братскую помощь, а зачастую просто средства на жизнь. Усевшись за низким столом, Симона, несколько друзей, ты и я страстно спорим, потому что волнующих тем хватает.

Я измучилась переводить с бешеной скоростью. Уставшая Симона немного повторяется, и я сама перестаю находить нужные слова. Ты, единственный трезвый человек в компании, тянешь меня к двери, говоря, что у меня уже язык заплетается. Я обижаюсь, и вечер заканчивается скандалом. На следующее утро мне стыдно, потому что я знаю, что, как и все по-настоящему больные от алкоголя люди, ты не любишь, чтобы твои близкие "позволяли себе". И потом, я впервые видела Симону, от которой ускользала нить рассуждений. Вчера даже у нее "заело пластинку", как говорят люди нашей профессии. Я отправляю ей письмо, полное нежности, где высказываю свои опасения, говорю, что ее физический облик — это ее личное дело, но что ее голова еще нужна остальным... Об этом я тебе, естественно, не рассказывала.

1980 год. На экране телевизора появляется торжественно-спокойное лицо Симоны. Она говорит о тебе. Она говорит, каким ты был поэтом и человеком, рассказывает, как московская толпа, официально не оповещенная, провожала тебя на кладбище. И в ее прозрачных, почти невидящих глазах чувствуется огромная сила, в каждом слове сквозит глубокая грусть.

1984 год. Я ужинаю с Симоной в Кибероне. Два дня назад она отдала мне пачку исписанных листочков — свой роман. Она сказала:

— Я назвала книгу "Прощай Володя!".

Я побелела. Почувствовав мое волнение, она добавляет:

— Это не твой, но они похожи, как братья, — вот увидишь...

Мы с сестрами прочли этот роман втроем, сидя за круглым столом, вырывая друг у друга листочки, смеясь, плача, охваченные одними и теми же эмоциями, — может быть, потому, что мы не можем забыть один день, проведенный на улице Университэ у нашей сестры Одиль; сидя вокруг большого стола, на котором громоздятся кипы страничек, мы читали тогда впятером — четыре сестры Поляковы и Симона — нашу книгу "Бабушка". Мы волнуемся, и вот звучит приговор:

— Неплохо, но я уверена, что здесь было из чего сделать потрясающую книгу.

Теперь мы читаем книгу Симоны, и я чувствую, как ее лихорадит. Мы с сестрами наперебой делаем ей компли-

менты. Для нас эта книга действительно удалась. Теперь остается ждать приговора публики. Это будет полный успех.

22 сентября. Я читаю Симоне главу из тисненного золотом издания ее книги "Тоска уже не та", где она пишет о России. Ее глаза мерцают, как слепые звезды. И вдруг она говорит мне:

— Ты должна писать...

24 сентября. Симона чувствует себя все хуже. Мне все-таки удалось уговорить ее поесть. Я привезла специально для нее блины с икрой. Впервые за долгое время она ест, даже с удовольствием. И все же, дожевывая блинчик, она не забывает мне сказать:

— Ты должна писать...

Я принесла несколько листочков и робко читаю их Симоне. Она говорит:

— Продолжай.

25 сентября. Мы потихоньку прогуливаемся перед домом, Симона начинает снова:

— Ты должна писать.

Вечером она выкуривает последнюю сигарету:

— Дорогая моя, пиши о Володе...

30 сентября восемьдесят пятого года. Тело Симоны покоится на кровати. Я громко говорю в тишине светлой комнаты:

— Я сделаю это, я обещаю тебе.

Красный огонек неистово мигает, актеры на сцене убыстряют ритм, в игре — напряжение. Я потихоньку поворачиваю голову и различаю в глубине зала силуэт в ореоле непослушных волос. Это — Юрий Петрович Любимов, "шеф". Он держит в руках придуманный им фонарик: белым освещается его собственное лицо, когда он хочет уточнить мимику или указать на плохое движение, слишком быстрый темп, автоматическую игру. Зеленый свет означает, что все идет хорошо, красный — что нужно сменить ритм, что он недоволен, что актеры играют не с полной отдачей. Его невозможно обмануть: он сам — актер, он прекрасно видит, когда на сцене кто-то бережет силы. Что удивительно в этом человеке — он это и сам признает, — он не был большим актером, он выглядел на сцене лишь милостивым молодым человеком. Он обрел свое настоящее призвание, став сначала педагогом, затем — режиссером театра.

Вы впервые встречаетесь в шестьдесят четвертом году — практически в ходе создания Театра на Таганке. Для тебя это настоящая удача — прийти в тот самый момент, когда театр только начинает жить. Твои отношения с Любимовым углубляются из года в год. Он становится тебе немного отцом, которого у тебя никогда по-настоящему не было. Ты восхищаешься им и побаиваешься его. Он любит тебя, как талантливую сына, с которым, правда, хлопот не оберешься. Вы дополняете друг друга в работе, и смотреть репетиции становится для меня настоящим наслаждением. Вы оба — заводные и соперничаете в обаянии. Вы попеременно взрываетесь, объясняетесь, яростно жестикулируя, в какую-то минуту начинает казаться, что дело сейчас дойдет до драки, — и все-таки вы никогда по-настоящему не ругаетесь. За несколько дней до генеральной репетиции все становится на свои места. Любимов выискивает совершенно особенную трактовку, от которой будет зависеть успех. Ты играешь не щадя сил. Кажется, ты уже достиг потолка. И вдруг — ты преодолеваешь этот предел, и открывается такая глубина... И каждый раз совершается чудо — Галилей, Пугачев, Маяковский, Гамлет и, наконец, Свидригайлов. Какую палитру персонажей вы создали с Любимовым! Не говоря уже обо всех поэтических пьесах, современных произведениях и спектаклях, которые мало кому довелось увидеть.

Любимов всю жизнь будет тебе другом. Он всегда прощал тебе все твои выходки, которые иногда ставили его в очень трудное положение. Публика приходила в ярость, когда ты не играл. Коллеги-актеры завидовали твоему успеху, снисходительности к тебе Любимова и особенно любви к тебе народа. За исключением некоторых — Демидовой, Золотухина, Шацкой, Филатова, Дыховичного, твоих друзей, — все кусали себе локти от зависти и всячески портили тебе жизнь. Особенно ненавидели тебя девочки. Они распространяли слухи, пытались поссорить тебя с Любимовым, превратили театр в корзину с копающимися крабами.

Насколько ты любишь концерты и встречи с публикой, настолько работа в труппе становится тебе в тягость. К семьдесят восьмому году ты серьезно подумываешь уйти из театра. Любимов дает тебе тогда возможность участвовать в спектакле со стихами и музыкой — "В поисках жанра", а главное — сыграть Свидригайлова в "Преступлении и наказании" в начале семьдесят девятого. Это будет твоя последняя роль в театре. В конце спектакля ты исчезаешь в люке,

откуда вырывается красноватый свет. Это премьера. Зал потрясен, я сама дрожу и не могу отделаться от глубокой тревоги весь остаток вечера. Между тем все веселы, и даже "шеф", который обычно скуп на комплименты, сегодня говорит: "Хорошо, Володя". И правда, твоя актерская работа достигла в этой роли несравненной глубины. Но какой ценой? За ужином я сижу напротив тебя и Любимова и вижу жизнерадостность в глазах "шефа", его счастливую улыбку и — твое каменное лицо с пустыми глазами. Между тем ты на двадцать лет его моложе. На его шестидесятилетие ты написал для капустника текст на известную музыку. Капустник — это спектакль, играющийся в тесном кругу для друзей и коллег, где можно во весь голос и с юмором сказать все, что на сердце. Эта разрешенная импровизация радует всех. Это нечто вроде аварийного клапана, который правительство, мне кажется, использует еще и для того, чтобы знать настроения людей. Твое выступление заканчивается словами: "Скажи еще спасибо, что живой!" Это было в семьдесят седьмом году.

Двадцать седьмого июля восьмидесятого года я вижу Любимова — постаревшего, согнувшегося под тяжестью горя. Он до конца исполняет свой долг режиссера, организуя все до мельчайших деталей. И смело и непоколебимо запрещает официальным ораторам доступ в зал. Я всю жизнь буду ему за это признательна. В своей книге воспоминаний, в заключение посвященной тебе главы, он написал: "Пастернак, Ахматова или Высоцкий вызывали своими стихами больше чем восхищение. Они вызывали любовь".

Сыграть Гамлета — это уникальная возможность в жизни актера. Ты идешь к этой роли на собственный манер — перегибая палку, яростно, со скандалом. После катастрофического запоя, следующего за нашей свадьбой, мы расстаемся. Любимов, до последней степени изведенный твоими загулами, предлагает репетировать твою роль другому актеру, надеясь, что ты обязательно среагируешь — просто из гордости.

Ты пишешь мне двадцать пятого мая семидесятого года: "Любимов пригласил артиста "Современника" репетировать роль параллельно со мной. Естественно, меня это расстраивает, потому что вдвоем репетировать невозможно — даже для одного актера не хватает времени. Когда через некоторое время я вернусь в театр, я поговорю с "шефом", и, если он не изменит своей позиции, я откажусь от роли и, по-видимому, уйду из театра. Это очень глупо, я хотел получить эту роль

вот уже год, я придумывал, как это можно играть... Конечно, я понимаю Любимова — я слишком часто обманывал его доверие, и он не хочет больше рисковать, но... именно теперь, когда я уверен, что нет больше никакого риска, для меня эта новость очень тяжела. Ладно, разберемся...”

В этих строчках заключается объяснение твоего подхода к трагедии Гамлета — человека, вынужденного изображать сумасшедшего, чтобы его оставили в живых, притворяться, чтобы его не заперли на замок, быть мужественным совсем по-другому, чем было принято в его касте, изобретать новый язык, который пугает Офелию и непонятен никому, особенно его собственной матери. Гамлет, который живет в тебе, очень на тебя похож. Любимов все еще прощает тебя и не колеблясь доверяет тебе эту огромную работу. К тому же тебе очень помогает декорация, придуманная твоим другом Давидом Боровским, — огромный грубоотканый занавес грязно-серого цвета, который перемещается во всех направлениях. Он стал будто еще одним персонажем драмы: широкими медленными движениями он подметает сцену и тем самым участвует в игре. Ты можешь зацепиться за него, завернуться в него, за тобой следят сквозь него, ты играешь с ним. Ты громко кричишь на Офелию для тех, кто подслушивает, и страстно целуешь ее, спрятанную в складках занавеса. Любопытным образом эта сценическая находка оттеняет все нюансы твоей игры.

Всю свою жизнь ты разыгрывал некое тихое помешательство, чтобы скрыть глубокий внутренний разлад. Ты каждый день маскировал отчаяние шутками, которые обезоруживали чиновников и близких тебе людей, иногда устававших от твоих невероятных выходок. Их останавливало в критический момент одно твое слово — разглаживались морщины, и люди вновь обретали мужество и терпение. В армейской среде, где ты вырос, учат мужеству, но не учат восставать против зазубренных идей — такие вещи здесь просто немыслимы. Твое мужество тем более велико, что никто тебя не поддерживает — твои близкие отказались от тебя, мучают тебя и предают. И твои стихи, полные скрытого смысла, здорово их раздражают. Гамлет не станет играть на инструменте, на котором не умеет играть. Тебе предлагают говорить то, что от тебя хотят услышать. Ты отказываешься и только громче кричишь свою правду. Картина, остающаяся после спектакля, — это страшный жестокий бой. Конечно, исход смертельный, но прежде всего это победа истины. Гамлет, пожертво-

вавший Офелией, измученный сомнениями, предательством любимой матери и самых дорогих друзей, сам решает свою судьбу — и происходит трагическая развязка. И когда, смертельно раненный, отомстив, он говорит последние слова, прекрасно переведенные великим Пастернаком: "Дальнейшее — молчанье", — раздавленные болью зрители еще несколько минут не двигаются с мест. Ты сам, раздетый до пояса, подрагивая как лошадь после изнурительной скачки, осунувшийся от прожитой на сцене жизни, поднимаешься лишь через несколько минут в полной темноте, которой завершается спектакль. В первый вечер я бегу за кулисы обнять тебя. На твоём лоснящемся от пота лице — счастливая улыбка: ты справился с этой ролью, ты ее сыграл, ты выложился весь.

Эта премьера навсегда останется в моей памяти. Дорога была такая длинная... Следующие десять лет ты приближался к Гамлету и одновременно происходило как бы очищение персонажа человеком. И это стало настоящим, высшим театральным искусством, и таким был каждый спектакль — вплоть до рокового дня в июле восьмидесятого, когда ты не появился в глубине сцены с гитарой в руках. В тот вечер ты не играл спектакля — ты никогда больше не играл. За пропавшие билеты возвращать деньги не пришлось: каждый сохранил свой как священную реликвию...

Одиннадцатое июля восьмидесятого года. Чемоданы в холле, ты уезжаешь в Москву. Нам обоим тяжело и грустно. Мы устали. Три недели мы делали все, что только было в наших силах. Может быть, мне не хватило духу? Все тщетно. Ты вынимаешь из кармана маленькую открытку. На ней наскоро набросаны несколько строк. В большом гулком холле твой голос звучит как погребальный колокол. Я тихо плачу. Ты говоришь:

— Не плачь, еще не время.

Ты внимательно смотришь на меня выпцветшими глазами, будто спрашиваешь о чем-то. Я хочу взять у тебя из рук открытку, ты говоришь, что там неразборчиво написано, и обещаешь мне послать стихи телеграммой. Мы едем в аэропорт. Твои стихи звучат во мне. Лед, о котором ты много раз говорил, давит нас, не дает нам сдвинуться с места. И я ничего не в силах сказать тебе, кроме банальных фраз: "Береги себя. Будь осторожен. Не делай глупостей. Сообщай о себе". Но сил у меня больше нет. Мы уже далеко друг от друга.

Последний поцелуй, я медленно глажу тебя по небритой щеке — и эскалатор уносит тебя вверх. Мы смотрим друг на друга. Я даже наклоняюсь, чтобы увидеть, как ты исчезаешь. Ты в последний раз машешь мне рукой. Я больше не вижу тебя. Это конец.

Как во сне я возвращаюсь домой, пытаюсь собрать воедино беспорядочные картинки последних дней: мое беспокойство, когда ты не приехал в назначенный день, бесполезные звонки, ожидание, бессилие, твое исчезновение между Парижем и Москвой и — однажды ночью — звонок моей подруги. Ты уже несколько часов в Париже — в одном из русских ресторанов, — и дело плохо, надо ехать за тобой. Я бужу Петю — мне нужна помощь. Мы находим тебя на банкетке, обитой красным плюшем, в самом темном углу. С тобой гитара и чемодан, ты похож на отставшего от поезда пассажира.

Наш добрый доктор Поль Онигман не может ничего сделать — тебя нужно класть в больницу. В коридоре доктор Дюгарен смотрит на меня и спрашивает:

— На этот раз кто это?

— Мой муж.

— Бедняжка...

В том же коридоре несколько лет назад находился мой старший сын.

Прошло время. Ты приходишь в сознание, а дальше — угрызения совести, отчаяние и, наконец, откровенный разговор со мной. Я отказалась, несмотря на советы врачей, оставить тебя в специальной клинике. Быть может, я должна была на это решиться. Но могла ли я посягнуть на твою свободу, которой ты дорожил больше жизни?..

Ты попросил меня: "Уедем вдвоем, уедем далеко, ты вылечишь меня, как раньше, как всегда..." И вот — мы на юге Франции в маленьком доме моей сестры Одиль. Тишина, холод, спрятанные в саду бутылки, успокоительные пилюли, которые никого не успокаивают, и вокруг — огромное пространство, которое для тебя не более чем пустота. И обрывки фраз: "Я уеду, я больше не могу, я больше не хочу, это слишком тяжело, хватит". И моя сила воли изнашивается, как тряпка, меня охватывает усталость, и отчаяние заставляет меня отступить. Мы уезжаем. В дороге ты дремлешь, быть может пользуясь предоставленной тебе отсрочкой. Строфы последнего стихотворения упорядочиваются у тебя в голове:

*И снизу лед и сверху — маюсь между.
Пробить ли верх иль пробуравить низ?
Конечно, всплыть и не терять надежду,
А там — за дело, в ожиданьи виз.*

*Лед надо мною — надломись и тресни!
Я весь в поту, как пахарь от сохи.
Вернусь к тебе, как корабли из песни,
Все помня, даже старые стихи.*

*Мне меньше полувека — сорок с лишним.
Я жив, двенадцать лет тобой храним.
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.*

Ты читал мне эти стихи всего один раз, и они отпечатались у меня в памяти.

В ночной тишине я закрываю глаза и словно прокручиваю фильм об этих проклятых месяцах. Наши тяжелые телефонные разговоры, твои многодневные отсутствия и потом, двадцать третьего июня, — смерть Одиль, мой крик о помощи, твое желание приехать меня утешить, преступный отказ в визе — и ты падаешь в пропасть. Потом — месяц холодной ярости, необъяснимой паники и вечером двадцать третьего июля — наш последний разговор:

— Я завязал. У меня билет и виза на двадцать девятое. Скажи, ты еще примешь меня?

— Приезжай. Ты же знаешь, я всегда тебя жду.

— Спасибо, любимая моя.

Как часто я слышала эти слова раньше... Как долго ты не повторял их мне... Я верю. Я чувствую твою искренность. Два дня я радуюсь, готовлю целую программу, как встретить тебя, успокоить, отвлечь. Я прибираю в доме, закупаю продукты, приношу цветы, прихорашиваюсь.

В четыре часа утра двадцать пятого июля я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровати. На подушке — красный след, я раздавила огромного комара. Я не отрываясь смотрю на подушку — меня словно заколдовало это яркое пятно. Проходит довольно много времени, и, когда звонит телефон, я знаю, что услышу не твой голос. "Володя умер". Вот и все, два коротких слова, сказанных незнакомым голосом. Тебя придавил лед, тебе не удалось разбить его.

В комнате с закрытыми окнами лежит твое тело. Ты одет в черный свитер и черные брюки. Волосы зачесаны назад, лоб открыт, лицо застыло в напряженном, почти сердитом выражении. Длинные белые руки вяло сложены на груди. Лишь в них видится покой. Из тебя выкачали кровь и вкололи в вены специальную жидкость, потому что в России с покойными долго прощаются, прежде чем хоронить. Я одна с тобой, я говорю с тобой, я прикасаюсь к твоему лицу, рукам, я долго плачу. "Больше никогда" — эти два слова душат меня. Гнев сжимает мне сердце. Как могли исчезнуть столько таланта, щедрости, силы? Почему это тело, такое послушное, отвечающее каждой мышцей на любое из твоих желаний, лежит неподвижно? Где этот голос, неистовство которого потрясло толпу? Как и ты, я не верю в жизнь на том свете. Как и ты, я знаю, что все заканчивается с последней судорогой, что мы больше никогда не увидимся. Я ненавижу эту уверенность.

Уже ночь. Я включаю нашу настольную лампу. Золотистый свет смягчает твое лицо. Я впускаю скульптора, который поможет мне снять посмертную маску. Это очень верующий пожилой человек. Его размеренные движения меня успокаивают. Пока он разводит гипс, я мажу твое лицо вазелином, и мне кажется, что оно разглаживается у меня под пальцами. Последняя ласка — как последнее успокоение. Потом мы молча работаем. Я несколько лет занималась скульптурой, я знаю, как делаются слепки, я вспоминаю почти забытые движения, эта работа вновь окунает меня в простоту жизни. Старый скульптор шепчет последнюю молитву. Все кончено. Маска будет отлита в бронзе в трех экземплярах. Что касается остального — я поручаю все нашему старому другу. На твоем письменном столе лежала посмертная маска Пушкина. Некоторые находят эту традицию мрачной, других шокирует, если они видят такую вещь на стене. Но я думаю, что артист принадлежит всем. Он раз и навсегда отдает себя тем, кто его любит.

Я провожу ночь, сидя у тебя в изголовье, погрузившись в воспоминания. Будущее для тебя кончилось. Свое будущее я плохо представляю. Все, что я делала эти несколько часов, я делала вместе с тобой. Один на один. И теперь приходят друзья, чтобы положить тебя в гроб. Накатывает горе — волна за волной. Плач, крики, шепот, тишина и сорванные от волнения голоса, повторяющие твое имя. Пришли все. Некоторые

приехали с другого конца страны, другие не уходили с вечера. Дом наполняется и, как в большие праздники, балконы, коридор, лестничная площадка полны людей. Только все это — в необычной, давящей тишине. Приносят гроб, обитый белым. Тебя осторожно поднимают, укладывают, я поправляю подушку у тебя под головой. Твой врач Игорек спрашивает меня, может ли он положить тебе в руки ладанку. Я отказываюсь, зная, что ты не веришь в Бога. Видя его отчаяние, я беру ее у него из рук и прячу тебе под свитер. Гроб ставят в большом холле дома, чтобы все могли с тобой проститься.

В пять часов утра начинается долгая церемония прощания. Среди наших соседей много артистов и людей, связанных с театром. Они идут поклониться тебе. И еще — никому неизвестные люди, пришедшие с улицы, которые уже все знали. Москва пуста. Олимпийские игры в самом разгаре. Ни пресса, ни радио ничего не сообщили. Только четыре строчки в "Вечерке" отметили твой уход. Мы уезжаем из дома на "скорой помощи" с врачами реанимации, которые так часто вытягивали тебя. Мы приезжаем в театр, где должна состояться официальная церемония. Любимов отрежиссировал твой последний выход: сцена затянута черным бархатом, прожекторы направлены на помост, одна из твоих последних фотографий — черно-белая, где, скрестив руки на груди, ты серьезно смотришь в объектив, — висит, огромная, над сценой. Траурная музыка наполняет зал. Мы садимся. Я беру за руку твою бывшую жену, и мы обе садимся рядом с вашими сыновьями. Прошное не имеет сейчас никакого значения. Я чувствую, что в эту минуту мы должны быть вместе.

Надлежащим образом проинструктированная милиция установила барьеры, улицы заполняются людьми. Перед театром образуется очередь. Мы слышим приказы, передаваемые по рации. Вокруг театра полно милиции. Я поднимаюсь в кабинет Любимова. Он бледен, но полон решимости. Он не отдаст эту последнюю церемонию на откуп чиновникам. Он хочет, чтобы говорили только друзья. В конце концов официальные лица сдаются. Никакой неискренности не будет в этой последней встрече. Я возвращаюсь в зал, двери открывают — и потекла толпа. Москвичи пришли проститься со своим глашатаем. Тысячи лиц отпечатались у меня в памяти, каждый несет цветы — сцена вскоре вся усыпана ими, и сладковатый запах ударяет в голову. Люди видят нас, опускают глаза, прижимают руку к сердцу, многие плачут. Мы слышим с

улицы возмущенные возгласы и крики, перекрывающие реквием: мне говорят, что квартал оцеплен, что милиции приказано не пускать людей, что "им" надо побыстрее закончить с похоронами. Мне это безразлично. Я смотрю на твое лицо, я немного заgrimировала тебя, потому что сегодня утром на рассвете лицо показалось мне совсем белым. Я заполняю свою душу этими дорогими чертами, я запоминаю их навсегда. Усталость, горе, звуки шагов вызывают нечто вроде галлюцинации. У меня впечатление, что ты дышишь, что у тебя шевелятся губы и приоткрываются глаза. Петя берет меня за плечи. Я прихожу в себя. Надо держаться. Врач — один из друзей — протягивает мне стакан с каплями нашатыря. Я смотрю вокруг, впечатление, что я снимаюсь в фильме и сцена закончится сейчас коротким режиссерским "стоп!". Толпа продолжает склоняться перед гробом в течение долгих часов. Потом отдают распоряжение вынести гроб. Шестеро друзей несут гроб к выходу. Меня окружают близкие.

На улице бьет в глаза яркий свет. Волнуется людское море, растянувшееся на километры. И над толпой поднимается твой голос — сотни людей взяли с собой магнитофоны и включили свои любимые песни. Мы садимся в автобус, гроб стоит в проходе, мы все сидим, как школьники, уезжающие на каникулы. Любимов машет большим белым платком людям, собравшимся на крышах, на каменных оградах, некоторые залезли на фонари. Автобус трогается. И часть огромной толпы бежит за автобусом до самого кладбища. Меня охватывает истерический смех, потому что из-за рытвин на дороге гроб подпрыгивает и твое тело соскальзывает. Нам приходится укладывать тебя обратно. Мы приезжаем на кладбище, на песчаную площадку, где в последний раз можно тебя поцеловать. Мне все труднее справляться с нервами. От вида искаженных болью лиц мне снова хочется захохотать. Может быть, я слишком много плакала?.. Я последняя наклоняюсь над тобой, прикасаюсь ко лбу, к губам. Закрывают крышку. Удары молотка звучат в тишине. Гроб опускают в могилу, я бросаю туда белую розу и отворачиваюсь. Теперь надо будет жить без тебя.

Двадцать шестого июля я вхожу в твой кабинет. Единственное место, оставшееся нетронутым, — это рабочий стол. Все остальное перерыто, переставлено, переложено. Не осмелились только прикоснуться к рукописям. И когда я машинально укладываю в чемодан сотни листочков и передаю его одно-

му из друзей, чтобы он спрятал, я еще не знаю, что просто спасаю твои стихи.

В последнюю минуту родители, очевидно, не решились подвергнуть цензуре и уничтожить то, что ты написал своей рукой. И этот мой поступок, понятый позже как воровство, позволил мне передать в ЦГАЛИ все, что ты создал бессонными ночами за годы тяжелой работы.

Я привезла этот маленький чемодан однажды утром в обычное серое здание, где и располагается архив. Там меня ждала группа женщин, которые, как только я вошла, по очереди обняли меня. У них в руках были букеты цветов, лица раскраснелись от жары и волнения, некоторые плакали. Директриса, спотыкаясь на словах, поблагодарила меня за этот поступок, который все они поняли как самый чистый знак любви к тебе и к России. Как единственная наследница твоего творчества, я могла увезти все это за границу. Но я знаю, что никто не будет так внимательно и преданно хранить твои рукописи, как эти женщины. Я без колебаний оставила их у тебя на Родине. Я уверена, что ты хотел бы, чтобы это было именно так.

После похорон я возвращаюсь в Париж. Ища, на чем бы записать номер телефона, я нахожу твое последнее письмо. Дата не проставлена, но я знаю, что оно написано до одиннадцатого июня восьмидесятого года:

”Мариночка, любимая моя, я тону в неизвестности. У меня впечатление, что я смогу найти выход, несмотря на то что я сейчас нахожусь в каком-то слабом и неустойчивом периоде.

Может быть, мне нужна будет обстановка, в которой я чувствовал бы себя необходимым, полезным и не больным. Главное — я хочу, чтобы ты оставила мне надежду, чтобы ты не принимала это за разрыв, ты — единственная, благодаря кому я смогу снова встать на ноги. Еще раз — я люблю тебя и не хочу, чтобы тебе было плохо.

Потом все встанет на свое место, мы поговорим и будем жить счастливо.

Ты. В. Высоцкий”.

Подпись ”Ты”, которую мы использовали в нашей переписке, появилась после того, как мы с тобой слышали однажды одну красивую индийскую притчу.

В день свадьбы невеста заперлась по обычаю в новом доме. Спустилась ночь, жених стучит в дверь, она спрашивает:

”Кто там?” Он отвечает: ”Это я”. Она не открывает. И так проходит много дней, и она не хочет открыть. Наконец он снова приходит однажды вечером. Она спрашивает: ”Кто там?” Он отвечает: ”Это ты”. Она открывает ему дверь и свое сердце.

Как и во всех больших городах, в Москве больше не хоронят на центральных кладбищах. Только в исключительных случаях. А вообще-то надо ехать за город очень далеко. Там и хотели власти похоронить моего мужа. Мы не согласны. Мои друзья и я считаем, что его могила должна находиться в самом сердце города, где он родился. Мы направляемся целой делегацией к директору Ваганьковского кладбища. Оно находится в нескольких шагах от нашего дома. Настоящий сад окружает красивую старую церковь. Приезжает Иосиф Кобзон. Как только директор впускает его к себе в кабинет, он говорит: ”Нужно место для Высоцкого” — и протягивает ему пачку сторублевых, целое состояние. Срывающимся от рыданий голосом директор кладбища говорит:

— Как вы могли подумать, что я возьму деньги? Ведь я любил его!..

Он уже приготовил лучшее место, как раз в середине площадки, у входа, чтобы сюда могли приходиться люди поклониться.

Этот добрый человек даже не мог себе представить, насколько удачно он выбрал место. Вот уже много лет непрерывный поток людей идет к могиле. Молодые кладут сюда букеты, как на могилу Неизвестного солдата, другие приносят по обычаю немного коньяка, яблоки, пироги, некоторые оставляют здесь свою гитару. Стихи сотнями приколоты к букетам, которые каждый день собираются в горы цветов.

Директор потерял свое место. Может быть, власти не простили ему устроенного скандала?.. Могила поэта Владимира Высоцкого в самом центре Москвы стала местом паломничества миллионов советских людей.

По поводу памятника на могилу между Володиной семьей и мной разразился скандал. В одном из стихов, названном ”Памятник”, Высоцкий оставил что-то вроде завещания, где ясно сказано, чего бы он не хотел видеть на своей могиле.

Давид Боровский — он около пятнадцати лет работал с Володей — устроил по моей просьбе выставку проектов памятника.

На мой взгляд, ничто так не напоминает блестящую и такую недолгую жизнь Владимира Высоцкого, как отколовшийся кусок звезды, оплавившийся в воздухе, оставивший огненный след в небе и завершивший свой стремительный полет на могиле поэта. Прямоугольник земли, выступающая из него необработанная порода, сверху — метеорит. И небольшая надпись — "Владимир Высоцкий". И даты.

К несчастью, это не подходило родителям. Они отвергли мою идею, варварскую и непонятную для них, под предлогом того, что эта тяжесть раздавит их сына. Им нужен был монумент во весь рост, хорошо узнающийся. Я надеялась, что конкурс поможет нам найти компромисс.

Более тридцати работ выставлены в фойе театра. Скульпторы вложили в работу всю душу, каждый по-своему воздавал должное памяти моего мужа. Мы долго рассматривали каждое произведение, это было печально и прекрасно, но каждый выбирает по себе — и родители остановились на очень похожей скульптуре во весь рост. Вся фигура обернута развевающимся знаменем, над головой — гитара, наверху — двухметровой высоты лошади из золоченой бронзы. Ни на одном из проектов мы не сошлись. Я защищала свой выбор, ссылаясь на стихи моего мужа, доказывая, что само расположение могилы со старой церковью сзади, деревьями и в окружении других могил не позволяет устанавливать высокую скульптуру. Потом я сказала, что Высоцкий был поэтом, артистом, а не Героем Советского Союза и что воинственная и реалистическая скульптура, выбранная родителями, будет противоречить его образу. Изображение не нужно еще и потому, что сохранились фотографии, фильмы, видеокассеты...

Но никакого решения принято не было. Через пять лет положение оставалось прежним. Я должна сказать совершенно искренне, что состояние могилы вселяло в меня радость: горы свежих цветов, меняющихся каждый день, зимой и летом, руками друзей, — что может быть лучше?

Ноябрь восемьдесят пятого года. Мне только что сообщили, что памятник установлен. Отныне на твоей могиле возвышается наглая позолоченная статуя, символ социалистического реализма — то есть то, отчего тебя тошнило при жизни. И поскольку она меньше двух метров в высоту, у тебя там вид гнома с озлобленным лицом и гитарой вместо горба, окруженного со всех сторон мордами лошадей. Это уродливо, не лезет ни в какие ворота и просто смешно.

На доколе надпись: "От родителей и сыновей". К счастью,

меня не втянули в этот скандал. Открытие происходило только в присутствии родителей. Не было никого из моих друзей. Фарс продолжается...

*Я при жизни был рослым и стройным,
Не боялся ни слова, ни пули
И в привычные рамки не лез.
Но с тех пор, как считаюсь покойным, –
Охромил меня и согнули,
К пьедесталу прибав ахиллес.*

*Не стряхнуть мне гранитного мяса
И не вытащить из постамента
Ахиллесову эту пятау,
И железные ребра каркаса
Мертво схвачены слоем цемента –
Только судороги по хребту.*

*Я хвалился косою саженью:
Нате, смерти!
Я не знал, что подвергнусь суженью
После смерти.
Но в привычные рамки я всажен –
На спор вбили,
А косую неровную сажень
Распрямили.*

*И с меня, когда взял я да умер,
Живо маску посмертную сняли
Расторопные члены семьи.
И не знаю, кто их надоумил,
Только с гипса вчистую стесали
Азиатские скулы мои.*

*Мне такое не мнилось, не снилось,
И считал я, что мне не грозило
Оказаться всех мертвых мертвей, –
Но поверхность на слепке лоснилась,
И могильною скукой сквозило
Из беззубой улыбки моей.*

*Я при жизни не клал тем, кто хищный,
В пасти палец.*

*Подойти ко мне с меркой обычной –
Опасались.
Но по снятии маски посмертной –
Тут же, в ванной, –
Гробовщик подошел ко мне с меркой
Дервянной.*

*А потом, по прошествии года,
Как венец моего исправленья,
Крепко сбитый, литой монумент
При огромном скопленьи народа
Открывали под бодрое пенье,
Под мое – с намагниченных лент.*

*Тишина надо мной раскололась –
Из динамиков хлынули звуки,
С крыши ударил направленный свет, –
Мой отчаяньем сорванный голос
Современные средства науки
Превратили в приятный фальцет.*

*Я немел, в покрывало упрятан, –
Все там будем!
Я орал в то же время кастратом
В уши людям!
Саван сдернули – как я обужен! –
Нате, смерти!
Неужели такой я вам нужен
После смерти?!*

*Командора шаги злы и гулки
Я решил: как во времени оном
Не пройтись ли, по плитам звеня? –
И шарахнулись толпы в проулки,
Когда вырвал я ногу со стоном
И осыпались камни с меня.*

*Накренился я – гол, безобразен, –
Но и падая, вылез из кожи,
Дотянулся железной клюкой,
И когда уже грохнулся наземь,
Из разодранных рупоров все же
Прохрипел я: "Похоже – живой!"*

*И паденье меня и согнуло,
И сломало,
Но торчат мои острые скулы
Из металла!
Не сумел я, как было угодно —
Шито-крыто.
Я, напротив, ушел всенародно
Из гранита.*

Этот пьяница, этот антисоветчик, этот отступник, этот бесталанный человек, этот мерзавец, этот враг, этот сумасшедший, этот плохой сын, этот отвратительный отец, этот опустившийся человек, который якшается с иностранкой, — это ваш сын, Семен Владимирович. Этот превозносимый публикой актер, этот всеми признанный творец, этот человек, страстно влюбленный в родную землю, неутомимый труженик, патриот, ясновидец, лишенный общения с детьми отец, терпеливый и снисходительный сын, человек, свободный и счастливый в своей личной жизни, — это тоже ваш сын, Семен Владимирович. Ваши медали, тяжело заработанные на войне, не дают вам сегодня права извращать истину. Вы никогда ничего не понимали. Песни вашего сына только резали вам слух. В вашем кругу его образ жизни считали скандальным. И вы предали его. И даже если вы не понимаете размеров вашего деяния, этот поступок был вдвойне преступлением: вы оклеветали человека, и это был ваш собственный сын.

В течение двенадцати лет я старалась примирить вас. Но вас волновало лишь собственное спокойствие. Вы хотели, чтобы его творчество не выходило за общепринятые рамки. Вы никогда по-настоящему не интересовались произведениями вашего сына. Вы никогда не понимали его борьбы, потому что она не вписывалась в ваше представление о жизни.

Во время наших ужасных споров о памятнике на могиле меня поразила одна вещь. Вы несколько раз намекали мне, что ваше последнее пристанище будет рядом с сыном. Я ответила резко, что это все-таки могила, а не коммунальная квартира. Но от вашей неожиданной известности, ежедневных знаков народного обожания по отношению к вашему сыну вы вошли во вкус почестей. Поставив этот абсурдный памятник, вы готовитесь высечь там свое имя. Вы, который никогда не поддерживал вашего сына в борьбе за правду, готовитесь разделить с ним посмертную славу.

Восемьдесят второй год. Я с подругой сижу уже два часа в зале ожидания Центральной тюрьмы в Москве, в месте сортировки, откуда заключенных отправляют в лагерь.

Один человек, который добился разрешения на строительство дома, где мы жили, возглавлял в свое время группу художников-графиков. Он получил разрешение начать строительство нескольких кооперативных домов в центре города и составил список пайщиков, в котором фигурировали известные артисты, ученые и политики. На Малой Грузинской улице, вблизи зоопарка, поднимаются двенадцатиэтажные башни из розового кирпича. Рядом — общежитие студентов консерватории, и летом хорошо слышен шум зоопарка вперемежку с гаммами на всевозможных инструментах.

По жеребьевке нам досталась квартира на восьмом этаже. Шесть лет ожидания, бесчисленных визитов к ответственным лицам на всех уровнях — и разрешающая подпись все же вырвана на больничной кровати у одного из ответственных работников Моссовета, к которому меня привел заместитель министра, твой поклонник. Наконец мы въезжаем в новую квартиру, но человек, которому мы обязаны этим счастьем, не смог, несмотря на свои выдающиеся организаторские способности, врожденную деловитость и легендарную способность выкручиваться, угодить всем. К тому же он имел неосторожность оборудовать себе небывалой роскоши квартиру-мастерскую, где он радушно принимал пол-Москвы.

Как только он перестал быть нужным "друзьям", они исчезли, зато многочисленные враги не оставили его в покое, и, несмотря на робкие попытки защищаться, он был смещен с поста, приговорен к тяжелому наказанию с конфискацией имущества. Ему семьдесят лет, у него большое сердце. Дочери не разрешили свидания с ним до отправки в лагерь, она попросила меня пойти с ней в пересыльную тюрьму. Она уверена, что мое присутствие смягчит тюремные власти.

И правда, услышав мое имя, нам открыли тяжелую дверь и поспешили предложить стулья. Нас попросили подождать, и мы ждем. В течение следующих часов я на всякий случай говорю свое имя и причину нашего прихода каждому проходящему милиционеру. Я знаю, что таким образом не сегодня, так завтра отец узнает, что дочь пыталась с ним повидаться. Мы обе боимся, что это будет его последним путешествием. Комендант тюрьмы, выслушав нас, снова просит подождать. Уже очень поздно, у нас кончились сигареты, становится зябко. Дверь открывается, мы привстаем с мест,

но комендант сообщает нам с явным облегчением, что в тюрьме внезапно вспыхнула эпидемия и посещения запрещены. Естественно, для нашего же блага.

Восемьдесят седьмой год. Я снова встречаюсь с нашим другом. Его только что досрочно освободили. Он совсем постарел, у него не осталось зубов, но он все так же полон энергии. Он рассказывает мне, что мой тогдашний приход возымел совершенно неожиданные последствия. Чтобы как можно скорее отделаться от этого слишком известного заключенного, его немедленно перевели в другую тюрьму. И поэтому он не отправился в лагерь, что, может быть, и спасло ему жизнь...

Метеорит, упавший в самом центре Сибири, должен был символизировать на могиле жизнь Владимира Высоцкого.

К несчастью, так не случилось, но я узнала в восемьдесят пятом году, что астрономы Крымской обсерватории назвали вновь открытую планету между орбитами Марса и Юпитера

В Л А Д В Ы С О Ц К И Й

Она значится под номером 2374 в Международном каталоге планет.

Часто я смотрю на звезды и улыбаюсь от мысли, что среди этого множества планет в огромной галактике блуждает маленькая светящаяся точка, и это вечно живое небесное тело связано с именем моего мужа.

”Послушай, все равно мы знаем, что ты здесь! Выходи! Заговори!” Так вечером двадцать пятого июля восемьдесят первого года публика общается с твоим голосом. В переполненном как никогда зале — такого не было даже на просмотре самых успешных запрещенных спектаклей — люди задают тебе вопросы, слушают твои ответы — ясные и меткие, как и все, что ты написал.

На сцене подвешены на канатах ряды театральных кресел, покрытые большим белым полотном, которое в какой-то момент вдруг превращается в волны, а потом застывает, словно живой лед. И в несколько секунд создается новая атмосфера для следующей сцены. Здесь собралась вся литературная Москва, эти враждующие друзья примирились на вечер. Сидя на обычном своем месте, Любимов тихонько плачет. Я сижу справа от него, и у меня по щекам тоже текут слезы, в отсутствии которых на похоронах меня упрекали.

Меня поразила оригинальность решения. Меньше чем за три часа Любимову удалось выразить самое главное в твоей жизни, а значит, немного и в моей. Он показывает нам двадцать лет жизни нашего поколения — шестидесятые—восемьдесятые годы,— двадцать лет кипучего творчества, двадцать лет борьбы. Это — воспоминание обо всех друзьях, сосланных, брошенных в тюрьму, исчезнувших, загнанных, вычеркнутых из списка живых из-за невозможности работать, из-за водки, наркотиков, от отчаяния. Еще — это спектакль о любви: в нем показана наша встреча и все, что было до и после — вплоть до последнего стихотворения. И еще — это спектакль о твоей тяжелой работе по восемнадцать часов в день, о твоей борьбе с отчаянием... Моментами мне становится неловко — не используя ничего, кроме твоих стихов, Любимов показал самые тяжелые моменты нашей жизни. И — начинается сатирическая часть. Публика, как всегда, стонет от смеха. Как здорово слышать мощную реакцию зала, знать, что все исписанные листочки, магнитофонные записи, отчаянные попытки опередить смерть, "допеть", не пропали даром — несмотря ни на какие запреты!

Несколько дряхлых бюрократов в ответе за смерть многих советских артистов. Они их не убивали, как Сталин, и поэтому не отвечают публично и поименно за злодеяния. Но мы знаем, что все они — палачи, что они лишили страну лучших творцов.

С восемьдесят первого года Любимов показывал этот спектакль в твой день рождения и в годовщину смерти. Пять лет труппа хранила в памяти текст и музыку, а играла всего два раза в год...

Я пишу эти строки в восемьдесят седьмом году. Любимов уехал, Эфрос умер, театр остался сиротой.

Никаких новостей о спектакле.

Ранним утром четвертого октября восьмидесятого года у меня раздастся телефонный звонок. Я шарю впопыхах в поиске телефонной трубки. Мужской голос, странно напоминающий флейту, говорит мне что-то на непонятном языке. Через каждые два слова я слышу твое имя — "Владимир Высоцкий", но он произносит: "Бладимир Бисоцкий". Я наконец понимаю, что мой собеседник — японец и что он пытается упросить меня с ним встретиться. Я чуть жива, я никак не могу проснуться — успокоительные, водка, три пачки сигарет, выкуренные накануне, — ото всего этого я очень

ослабла и бормочу: "Хорошо, приходите в три часа".

Днем приходит высокий элегантный молодой человек, очень взволнованный и испуганный. Я указываю ему на стул. Еще тепло, и я ждала его в саду, собаки прыгают вокруг, и, кажется, это не особенно ему нравится. Я смотрю на него вопросительно, он поправляет складку на брюках, откашливается и начинает свой рассказ.

Много работая с японцами, я, в общем, вполне сносно понимаю их английский, который абсолютно непонятен большинству людей. Но он так волнуется, что я предлагаю ему выпить водки и объясняю, что спешить нам некуда, что его история меня интересует, что я понимаю, как все это важно. Собравшись с духом, он принимается говорить:

— Я журналист, я работаю в журналах мод. Несколько недель назад я был на показе мод в Токио. На пленке, под которую выходили манекенщицы, буквально разрывался мужской голос — такой, каких я никогда не слышал. Я был совершенно потрясен. Я никогда не чувствовал такого шока, такого удовольствия пополам с отчаянием.

Я останавливаю его. Не хватало еще нам здесь с ним вдвоем зарыдать под удивленными взглядами моих собак! Мне становится смешно, и, чтобы не обидеть моего гостя, я изображаю приступ ужасного кашля. Вежливо выждав, мой японец продолжает:

— Чтобы найти имя исполнителя, я опросил целую толпу людей и узнал наконец, что песня записана с пластинки, вышедшей в Париже, и что певец — русский. Тогда я решил поехать в Париж. Я пошел в большой магазин пластинок, мне показали весь отдел русских песен. Я перебрал кучу пластинок и, увидев его лицо, понял, что это он. Продавщица поставила пластинку на проигрыватель, и я снова услышал этот голос. Пластинка так и крутилась до последней песни. Я купил все, что у них было. Потом я провел настоящее расследование, узнал, что его жена живет недалеко от Парижа, и вот я нашел вас. Вы разрешите мне писать о Владимире Высоцком?

Все это он выпалил на одном дыхании, опустив глаза. Я так разволновалась, что не могу выговорить ни слова. Мы такие разные! Он — молодой японец, покоренный твоим голосом, и я — твоя вдова, обессиленная горем. Я пристально смотрю ему в глаза. Он говорит:

— На следующий же день после показа мод я начал брать уроки русского.

Издательство "Прогресс"

Готовится к выпуску в свет

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. ЧЕЛОВЕК. ПОЭТ. АКТЕР

В сборник вошли 50 стихотворений В. Высоцкого, а также воспоминания о нем родственников, друзей, актеров, писателей, поэтов, режиссеров, композиторов. Среди авторов — Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Юрий Трифонов, Алла Демидова, Михаил Ульянов, Геннадий Полока, Роберт Рождественский, братья Вайнеры и др.

Составитель книги, автор предисловия и комментария — доктор филологических наук Юрий Андреев.

В книге собраны фотографии о жизни и творческой деятельности В. Высоцкого.

Влади М.

"Владимир, или Прерванный полет"

Редактор М е ж е н к о в В.П.

Художник Е ж к и н Н.Б.

Художественный редактор Д е н и с о в Ф.Б.

Технический редактор Д у б р о в и н а Л.В.

Корректор Т а г и - З а д е М.А.

ИБ № 17201

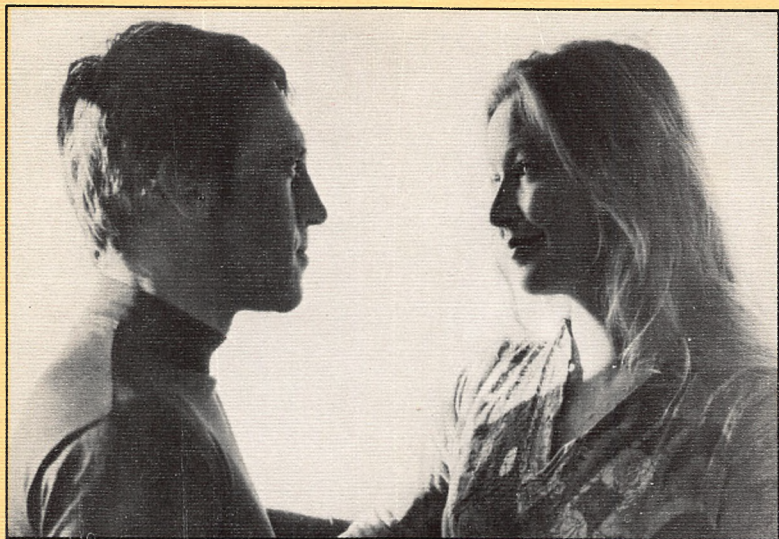
Сдано в набор 25.10.88. Подписано в печать с РОМ 30.11.88. Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Пресс Роман. Печать офсетная. Условн. печ. л. 9,24. Усл. кр.-отт. 9,64. Уч.-изд. л. 9,66. Тираж 100 000 экз. (II завод 50 001—100 000 экз.). Заказ № 0533. Цена 3 р. 20 к. Изд. № 44654.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Прогресс" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

119847, ГСП, Москва, Г-21, Zubovskiy bulvar, 17.

Ордена Трудового Красного Знамени Московская типография № 7 "Искра революции" Союзполиграфпрома Государственного Комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103001, Москва, Трехпрудный пер., 9.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Московской тип. № 4 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129041, Москва, Б. Переяславская, 46. Зак. 1745.



Метеорит, упавший в самом центре Сибири, должен был символизировать на могиле жизнь Владимира Высоцкого.

К несчастью, так не случилось, но я узнала в восемьдесят пятом году, что астрономы Крымской обсерватории назвали вновь открытую планету между орбитами Марса и Юпитера **ВЛАДВЫСОЦКИЙ**

Она значится под номером 2374 в Международном каталоге планет. Часто я смотрю на звезды и улыбаюсь от мысли, что среди этого множества планет в огромной галактике блуждает маленькая светящаяся точка, и это вечно живое небесное тело связано с именем моего мужа

Марина Влади

Уважаемые читатели!
Часть средств от продажи этой книги поступит в фонд создания в Москве Музея Владимира Высоцкого